



А. П. ЧЕХОВ

Повести и рассказы



Scan Kreyder - 18.07.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





А. П. ЧЕХОВ

Повести и рассказы

Редакционная коллегия:

Бикчентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Хамматов Я. Х.,
Чванов М. А.

Текст печатается по изданию:
А. П. Чехов. М., «Худож. лит.», 1976.

Чехов А. П.

Ч—56 Повести и рассказы. Предисловие М. Рахимкулова. Башкирское книжное издательство, 1980.

320 с., порт. (Серия: Золотые родники)

Ч $\frac{70803-231}{М121(03)-80}$ 107—80

Р1

ЧЕХОВ В БАШКИРИИ

Великий художник слова Антон Павлович Чехов, по меткому определению Льва Толстого, «Пушкин в прозе», был прежде всего гуманистом в самом высоком значении этого слова. При упоминании его имени перед нашим взором возникает образ симпатичного и доброго человека с умными, пронизательными глазами, человека удивительно цельного и искреннего. Как никто другой, этот честнейший и совестливейший человек глубоко чувствовал страдания маленького человека, постоянно унижаемого и оскорбляемого, он буквально мучился чужой болью.

Чехов — это хрустальный родник нашей совести, это источник, из которого мы черпаем правду и красоту, доброту и любовь. Любовь к человеку, любовь бескорыстная, не требующая взамен ничего, стремящаяся возвысить человека, утвердить его человеческое достоинство, нравственную и физическую красоту — вот жизненное и творческое кредо Чехова. Поэтому-то в каждой чеховской строке, в каждой его фразе звучит внутреннее изящество, тонкость души, трогательное внимание к людям.

Пошлая и жестокая жизнь вызывала негодование Чехова. Но он глубоко верил в неиссякаемые духовные силы народа, в его светлое будущее и своим творчеством приближал счастливое завтра. Чехов понимал, что подавляющее большинство людей еще барахтается в тине мещанства, косности, глупости и далеки от красоты и гармонии. Вместе с тем он был убежден, что мыслящие, честные люди не могут быть счастливыми в мире угнетения, тунеядства и пошлости. Всем своим творчеством Чехов утверждал, что нельзя быть равнодушным созерцателем противоестественного, рабского состояния человека, а нужно бороться против этого. В ярких художественных образах беспощадно разоблачая мелочность, ничтоже-ство, грубость и все мерзости жизни, великий человеколюбец при-

звал распахнуть окна навстречу новому прекрасному будущему. Органически присущая Чехову всеобъемлющая гуманность является прочной основой его интернационализма. Продолжая традиции великого Пушкина, он с большим вниманием и сочувствием отразил беспрсветную жизнь народов колониальных окраин России, находившихся в еще более тяжелом положении, чем трудовой русский народ. Особое сочувствие и тревогу писателя вызывала судьба башкирского народа, доведенного царизмом до грани нищеты и физического уничтожения.

Первое упоминание Чехова о Башкирии относится к 1883 году. В фельетоне «Мысли читателя газет и журналов» он пишет об уфимской газете: «Не читайте «Уфимских губернских ведомостей»: из них вы не почерпнете никаких сведений об Уфимской губернии»¹. Этот отзыв писателя точен, меток и справедлив. Будучи официальным органом губернии, газета, естественно, отражала царскую колониальную политику, умышленно умалчивала о действительном положении дел в Башкирии. Именно в ту пору происходили неслыханные грабежи башкирских земель, и в столичных газетах часто появлялись статьи и корреспонденции уфимских публицистов Н. В. Ремезова и П. И. Доброворского, в которых смело разоблачались варварские разбазаривания природных богатств Башкирии. Весьма вероятно, что Чехов был знаком с этими публикациями, с фактами баснословного ограбления башкирских земель и лесов. Тем более, что вопиющие злоупотребления чиновников и дельцов в Уфимской губернии вынуждена была подтвердить даже сенаторская ревизия, проведенная в 1881 году в Уфе.

Чуткая душа Чехова была возмущена тем, что печатный орган края, где происходило позорное ограбление целого народа, ограбление, которым была возмущена вся прогрессивная общественность страны, всячески пытался умолчать даже о самом факте расхищения башкирских земель, не сообщал о нем «никаких сведений».

Непосредственное знакомство Чехова с Башкирией и башкирами состоялось позднее: весной 1890 года. Направляясь на Сахалин, он по Волге и Каме добирался от Ярославля до Перми. Проезжая на пароходе по северу Башкирии, он писал родным: «Стали попадаться инородцы. Татар очень много: народ почтенный и скромный». Если припомнить, что коренное население этого края — башкиры и татары — сильно перемежались между собой и по внешнему обли-

¹ А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Соч. в 18-ти т. Т. 2, М., «Наука», 1975, стр. 14. См. также: А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 20 т. Пс. 2, М., ГИХЛ, 1944—1951, стр. 106. В дальнейшем эти издания цитируются без ссылок.

ку, образу жизни и роду занятий мало отличались друг от друга, то можно предположить: называя «почтенным и скромным», писатель, очевидно, имел в виду обе эти народности, к которым он относился с симпатией и уважением.

В тот год была поздняя весна, природа не набрала еще своих живительных сил, донимал порывистый холодный ветер. Суровая природа Камы, унылые уральские города, тяжелая жизнь народов края угнетают писателя, наводят на грустные размышления. Под впечатлением увиденного и пережитого в дороге, уже добравшись до Екатеринбурга (ныне Свердловск), Чехов писал о прикамской природе: «Берега голые, деревья голые, земля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что сам черт не сумеет дуть так резко и противно... звуки береговых гармоник кажутся унылыми, фигуры в рваных тулупах, стоящие неподвижно на встречных баржах, представляются застывшими от горя, которому нет конца. Камские города серы...»

В тот же день Чехов пишет знакомому врачу Н. Н. Оболенскому: «Сию я теперь в Екатеринбурге; правая нога моя в Европе, а левая — в Азии. Погода, выражаясь мягко, отвратительна... — и шутливо добавляет: — Увы, как изменилась жизнь моя! Белизну восемнадцатирублевых сорочек заменяет мне здесь снег, покрывающий мостовые; тепло заменяется жестоким холодом... я вижу вокруг себя лобастых и скуластых азиатов...»

«Лобастыми и скуластыми азиатами» Чехов, надо полагать, называл башкир, добывавших чугуны на уральских заводах: аборигены края сыграли важную роль в развитии горнодобывающей промышленности Урала, составляя не только один из основных резервов заводских рабочих, но нередко являясь и первооткрывателями залежей золота, руд и других полезных ископаемых.

Впечатления от продолжительной поездки на Сахалин нашли отражение в ряде произведений Чехова, в частности, в рассказе «В ссылке» (1892 г.). В основу его легли два эпизода из очерков «По Сибири», написанных в мае 1890 года: переправа на пароме, очевидно, через Ишим, и ночь на берегу Иртыша, в избе перевозчиков.

В рассказе «В ссылке» Чехов создал колоритный образ молодого татарина, томящегося в ссылке. Сослан он в Сибирь безвинно. Виноват был его дядя, богатый и всесильный. За вину богатого родственника приходится расплачиваться безответному бедняку. В холодной чужой стороне татарин глубоко страдает, тоскует по дому, по умной красивой молодой жене. Самому ему лет двадцать пять, родом он из Симбирской губернии. Образ родной деревни,

любимой жены не дают ему покоя ни днем, ни ночью. Размечтавшись, он говорит, что «если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего».

Татарин выделяется среди других перевозчиков своей человечностью, тонкостью души, умением глубоко чувствовать. Особенно резко оттеняется его доброта на фоне огрубевшего, равнодушного и озлобленного Семена Толкового. Чуткий ко всему живому, татарин не может понять Семена Толкового, которому ничего не надо, даже человеческого тепла, ко всему на свете равнодушного, считающего стремление к лучшей жизни суетой и глупостью. С глубокой убежденностью татарин утверждает: «Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина!» Этот образ вызывает уважение и сочувствие, он воспринимается как символ всего трудового, бесправного народа, светлые душевные качества которого безжалостно попираются в удушливой атмосфере зла, грубости и несправедливости.

Башкирские мотивы нашли художественное отражение в рассказе Чехова «У знакомых» (1898). Писатель создал типичный образ инфантильного русского дворянина Сергея Сергеевича Лосева, вся жизнь которого прошла в бессмысленных кутежах и мотовстве. В результате его имение Кузьминки, полученное в приданое за женой, совершенно разорено и продается с молотка. Но все устраивается как нельзя лучше: Лосеву «обещали место податного инспектора где-то там в Уфимской или Пермской губернии...» Действительно, разорившиеся царские чиновники неплохо устраивались в ту пору в Уфимской губернии и основательно поправляли свои денежные дела. Стремление обедневшего дворянина Лосева поехать в восточные губернии с целью «урвать», по меткому выражению М. Е. Салтыкова-Щедрина, лакомый «кусочек» девственной башкирской земли и тем поправить свое материальное благосостояние отражает типичное явление той эпохи. Новонспеченные «башкирские помещики», жестоко эксплуатируя местное население, на слезах и муках народа наживали огромные состояния. И как человек, остро чувствующий всякую несправедливость, Чехов не мог пройти равнодушно мимо вопиющего социального бедствия — хищнического ограбления башкир: «фигуры в рваных тулупах» не могли не волновать его любящего сердца.

Особого внимания заслуживает приезд Чехова в 1901 году на кумысолечение в Башкирию. Его эпистолярное наследие этого периода, мемуарная литература о писателе и некоторые другие ма-

териалы позволяют воссоздать «башкирскую страницу» жизни и творчества Чехова.

К весне 1901 года здоровье Чехова значительно ухудшилось, и он, понимая необходимость серьезного лечения и желая посоветоваться с видными столичными врачами, 11 мая приехал из Ялты в Москву. 20 мая писатель был на приеме у известного терапевта профессора В. А. Щуровского. Тот нашел болезнь очень серьезной и посоветовал Чехову как можно скорее ехать на кумыс в Башкирию. В тот же день Чехов писал сестре Марии Павловне: «Ну-с, был я у доктора Щуровского. Он нашел притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой, и велел немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губернию, если же кумыса я не буду переносить, то — в Швейцарию. На кумысе, скучнейшем и неудобном, придется пробыть два месяца».

Находясь последние годы в Ялте, Чехов был оторван от привычной литературной среды, ему тяжело было «без культуры, без московского звона». И вот он снова вынужден покинуть друзей, театр, любимый город. Все это, несомненно, внутренне настраивало Чехова против поездки на кумыс. И в письме к О. Р. Васильевой он горько иронизирует: «Ехать на кумыс гораздо скучнее, чем читать дамского сочинения роман». На кумыс Чехов решил ехать в Андреевский санаторий, находящийся недалеко от станции Аксеново Уфимской губернии.

Приезд Чехова в Башкирию совпал с важным событием в его личной жизни — женитьбой на видной московской актрисе Ольге Леонардовне Книппер. «Милая мама, благословите, женюсь. Все остается по-прежнему. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовский. Здоровье лучше», — телеграфирует он Евгении Яковлевне 25 мая 1901 года. Обвенчавшись в тот же день в церкви Воздвижения на Овражке, в Воздвиженском переулке на Плющихе, Чеховы посетили лишь мать невесты и сразу же поехали на вокзал. На другой день, 26 мая, они были уже в Нижнем-Новгороде. Один день пробыли у А. М. Горького, который, отсидев месяц в нижегородской тюрьме за участие в революционном движении, только 17 мая был по болезни выпущен из заключения и отбывал домашний арест.

Из Нижнего Новгорода Чеховы едут на пароходе по Волге и Каме до Пьяного Бора (ныне Красный Бор). Ольга Леонардовна вспоминала: «У пристани Пьяный Бор (Кама) мы застряли почти на сутки и ночевали на полу в простой избе в нескольких верстах от пристани, и спать нельзя было, так как неизвестно было время, когда мог прийти пароход на Уфу — и в продолжение ночи и на рассвете пришлось несколько раз выходить и ждать — не появится

ли какой пароход. На Антона Павловича эта ночь, полная отчужденности от всего культурного мира, ночь величаявая, памятная какой-то покойной, серьезной содержательностью, и жутковатой красотой, и тихим рассветом, произвела сильное впечатление, и в его книжечке, куда он заносил все свои мысли и впечатления, отмечен «Пьяный Бор»¹.

Просидев ночь с 28 на 29 мая в Пьяном Бору, Антон Павлович и Ольга Леонардовна на попутном пароходике поплыли по реке Белой в Уфу. 31 мая рано утром Чеховы прибыли в Уфу. (Предполагали уехать из Уфы в Аксеново ранним, шестичасовым поездом, но недалеко от Уфы произошло крушение поезда с переселенцами, и в ожидании поезда Чеховы задержались в Уфе до двух часов дня). Из Уфы шесть часов ехали по железной дороге до станции Аксеново, оттуда еще 12 верст на лошадях до частного кумысного заведения.

Уфа тех лет ничем не отличалась от других провинциальных городов и произвела на Чехова грустное впечатление. Ольга Леонардовна писала Марии Павловне из Аксенова: «Вот яма-то эта Уфа! Пекло, духота, пыль». Примерно так же описывал Уфу начала века А. М. Горький в «Жизни Климса Самгина»: «Город был какой-то низенький, он точно сидел, а не стоял на земле. Со степи широкой волною налетал ветер, вздымая на улицах облака черноватой теплой пыли... На грязных берегах лежало очень много сплавного леса и почти столько же закопченных солнцем башкир в лохмотьях. В общем было как-то непоколебимо, навсегда скучно...»¹.

Только через неделю после отъезда из Москвы Чеховы добрались до Андреевского санатория. О дорожных мытарствах Ольга Леонардовна писала 6 июня из Аксенова близкому знакомому Чеховых врачу Л. В. Средину: «Мы измучились в дороге, — застряли в Пьяном Бору и в Уфе». Андреевский санаторий был расположен в красивом дубовом лесу. Погода стояла замечательно теплая, дышалось легко и свободно, воздух был напоен ароматом диких трав и полевых цветов. Настроение Чеховых было хорошее. Хотя санаторий представлял собой печальное зрелище: он был открыт недавно и плохо еще оборудован. Основал его М. И. Дурилин в 1900 году на средства умершего от туберкулеза брата Андрея Исидоровича, по его завещанию, и назвал в память брата «Андреевским». Санаторий состоял из одноэтажного деревянного здания столовой, ко-

¹ А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1954, стр. 601.

¹ М. Горький. Полн. собр. соч., т. 23, М., «Наука», 1975, стр. 374.

торая одновременно была и гостиной, и бильярдной, здесь же находилась и библиотека; из сорока маленьких домиков и двух домов по десять номеров. В одном из маленьких домиков-кабин и поселились Чеховы. Обстановка в домике была самая примитивная: стол, три стула, жесткая кровать, шкаф и треножник с маленьким кувшином вместо умывальника. Домик Чеховых был крайним, и из окон его открывался чудесный вид на степь и березовый лесок.

Много лет спустя в ответ на просьбу дирекции санатория поделиться своими воспоминаниями о пребывании в Аксеново О. Л. Книппер-Чехова писала: «Мы с Антоном Павловичем поместились в небольшом домике (скорее беседке) на две крошечные комнатки-кабинки... Причем, как оказалось, подушки и постельное белье мы должны были привезти с собой, так как казенного белья не полагалось. Мне пришлось на другой же день ехать в Уфу и покупать подушки и прочие мелочи. Кровать для Антона Павловича была очень коротка, он, как известно, был высокого роста. Для того, чтобы ему было удобно спать, я каждый вечер подставляла к кровати табуретку, на которую он просовывал ноги сквозь спинку кровати»¹.

Разумеется, для больного человека все эти бытовые неудобства были не мелочью. Кроме того, среда, в которой оказался писатель, ни в коей мере не могла удовлетворить его духовных потребностей. Не было и диетического стола. Но многое скрашивалось необычайной красотой природы и отличной погодой. И несмотря на неудобства, у Чеховых «осталось самое чудесное воспоминание об Аксенове».

Хотя Чехов приехал в Башкирию на отдых, на кумысолечение, но, как художник и общительный, беспокойный человек, он, конечно же, не мог сидеть без дела: вел интенсивную переписку с писателями и издателями, родными и друзьями, читал корректуры своих произведений и редактировал их, перезнакомился с отдыхающими и персоналом санатория и впоследствии поддерживал с ними связи, интересовался их жизнью.

Живописная природа Башкирии, воспетая Аксаковым чудесная река Дема, красивые холмы и девственные леса, изумительные душистые полевые цветы и густые травы, по свидетельству Ольги Леонардовны, приводили Антона Павловича в восторг.

На другой же день по приезде в санаторий Чехов писал сестре Марии Павловне, что с удовольствием пьет кумыс, «кислый, похожий на квас, напиток». Антон Павлович не только «переносил»

¹ Пребывание А. П. Чехова в Башкирии. — Газ. «Советская Башкирия», 7 сентября 1952.

кумыс, но и значительно поправил в Башкирии свое здоровье. Как врач, он, несомненно, знал о целебных свойствах кумыса. Больше того, еще в раннем его рассказе «Цветы запоздалые» (1882) доктор Топорков советует пациентке, больной туберкулезом девушке Марусе, ехать на кумыс: «Вам нужно ехать в Самару... Будете там кумыс пить».

Как видно из многочисленных писем Чехова к различным адресатам, кумыс оказывал на него благотворное воздействие, и уже через несколько дней после приезда в санаторий он чувствовал себя значительно лучше. Так, 10 июня он писал матери Евгении Яковлевне, что помногу пьет кумыс, и от этого заметно поправляется, кашель прошел, и хотя «жить здесь не совсем удобно и скучновато, но в общем недурно», и он «уже привык». Что касается скуки и неудобства, то, естественно, оторванность от литературного и культурного мира, пребывание в глухой губернии, в безвестном, только что открывшемся санатории не могло не угнетать человека такой кипучей, деятельной, творческой натуры, каким был Чехов.

Не случайно, очевидно, и то, что письма Чехова к разным адресатам, несмотря на общность мотивов — пьет кумыс, поправляется, но скучает, — различны все же по основному содержанию их. Родным и близким он преимущественно пишет о личной жизни, о здоровье, природе; литераторам, издателям, журналистам, общественным деятелям, наряду с этим, сообщает и о социальной стороне быта, касается также творческих вопросов. Будучи в санатории, Чехов вычитал и отредактировал корректуру пятого тома своих сочинений, издаваемого А. Ф. Марксом.

В одном из писем к своему другу, известному юристу, писателю А. Ф. Коню Чехов жаловался: «Здесь, на кумысе, скука ужасающая, газеты все старые, вроде прошлогодних, публика неинтересная...». Кроме отсутствия духовно близких людей среди отдыхающей публики, писателя, надо полагать, угнетало бедственное положение башкир и русского населения окрестных деревень и сел, в которых ему удалось побывать: частые неурожаи, свирепствовавшие в ту пору в Уфимской губернии, довели трудовой народ до грани нищеты.

Чехов высоко ценил целебные свойства башкирского кумыса, В. С. Миролюбову, в частности, писал, что пить кумыс в Петербурге бесполезно, «его можно пить только здесь, в восточных губерниях», то есть в ковыльных башкирских степях. Качество кумыса в Андреевском санатории было очень хорошим. Около трехсот кумысных кобылиц паслись на пастбищах, расположенных вокруг санатория, возле реки Бугульминки. Здесь же табором размещались и башкиры, работавшие в табуне. Некоторые из них жили в таборе со свои-

ми семьями. Жизнь этих башкир была тяжелой, безрадостной, проходила в постоянной борьбе с нуждой и бедностью. Чехов хорошо ознакомился с их нехитрым бытом, когда ходил на речку ловить рыбу.

Общительный и деятельный, Чехов не мог жить замкнуто. Посещая окрестные деревни, он знакомился с местными жителями. Кучером к нему был определен житель ближайшей деревеньки Баранкуль Минигалей Закирьянов, который по приглашению управляющего Третьякова работал в санатории табунщиком. Минигалей хорошо знал всю окрестность и многих жителей в округе и оказался отличным гидом Чехова.

Башкирскому писателю Кирею Мэргэну удалось в 1944 году разыскать в Аксеново семидесятилетнего старика Минигалея Закирьянова, который около тридцати лет проработал в санатории и помнил многих клиентов. Он хорошо помнил, как, исполняя обязанности кучера, не раз ему довелось встречаться с Чеховым в период пребывания писателя в Башкирии. Минигалей Закирьянов сообщил Кирею Мэргэну некоторые интересные сведения о жизни Чехова в Аксенове. Старый башкир рассказал, в частности, о том, что Чехов, находясь на кумысе, любил подниматься на высокую гору, возвышающуюся напротив санатория, и часами там просиживать, любуясь красотой башкирского пейзажа. Эта гора, в память о посещении ее великим писателем, носит ныне название «Чеховой горы».

Живя в Башкирии, Чехов любил ездить на лошади. Владелец санатория М. И. Дурилин содержал специальные прогулочно-прокатные кареты для кумысников. И когда Чехов попросил у управляющего лошадь для прогулок, хозяин, стараясь блеснуть перед известным писателем, распорядился дать ему лучшего жеребца. А так как этим жеребцом мог управлять только Минигалей Закирьянов, то его сняли с табуна и посадили на козлы. Так башкир-табунщик стал кучером Чехова. Минигалея удивляла мягкость и человечность «господина», которого ему довелось возить. Возил он Чехова и в соседние деревни, где «барин» запросто и охотно беседовал с мужиками. Позднее Закирьянов узнал, что этот «господин» был одним из лучших русских писателей.

Чехов беседовал со своим кучером о жизни, о земле, советовал ему уйти от М. И. Дурилина. Особенно хорошо запомнил Минигалей Закирьянов одну из этих бесед.

— Скажи-ка, — спросил его однажды Чехов, — почему ты здесь сохнешь? Лучше бы поехал домой и занялся хозяйством.

— У меня земли нет, — ответил башкир.

— Как, в Башкирии — и нет земли? — удивился Чехов.

— Раньше много было, а теперь наша земля господской стала, — ответил Минигалей и рассказал своему собеседнику, как башкиры-гайнинцы «оптом» продали свою землю и лес одному приезжему барину и как тот развел на ней хозяйство, вытеснив бывших владельцев. Когда барин умер, земля досталась его дочерям, и на одной из них женился некий Дурилин, который вскоре открыл здесь курорт.

— Но тебе все равно нужно уехать отсюда, — посоветовал башкиру Чехов и добавил: — обязательно!

Минигалей Закирьянов многие годы бережно хранил память о встречах и беседах с добрым русским писателем¹.

Побывал Чехов и в селе Воздвиженка, которое насчитывало тогда около 160 дворов. Ездил он туда по приглашению П. М. Веселова, инспектора московской мужской гимназии. Веселов был зятем помещика Померанцева, в имении жены проводил летние каникулы. Перед домом Чехов сфотографировался вместе с кучером на ходке (эта фотография известна под названием «А. П. Чехов в Аксенове, 1901 г.»). По словам местных жителей, в Воздвиженке было тогда очень красиво: вокруг лес, большие заросли кустарника, пели соловьи, пойма реки была в лесу; от кладбища до горы, что по дороге в Аксеново, была березовая роща.

Не раз бывал Чехов в деревне Самодуровке (ныне Сосновка), где в то время находилось почтовое отделение. Однажды он был на званом ужине у купца Беляева, в числе многочисленных гостей была и учительница церковно-приходской школы Фанна Васильевна Иванова (Костромина), по ее просьбе Чехов читал перед гостями. Позднее Ф. В. Костромина вспоминала: «Его приезд в наши края был настоящим событием. Мы, учителя земской школы, знали писателя по его произведениям. А вскоре нам посчастливилось познакомиться с ним. Он был частым гостем в школе, у наших учителей. Бывало, Антон Павлович поедет на станцию на лошадях, а возвращаться любил пешком, и тогда заходил в школу выпить чашку чая, отдохнуть, поговорить. Беседовать с ним было очень интересно. Речь его была мягкой, насыщенной юмором. Интересовался Чехов вопросами деревенской жизни. Расспрашивал о работе школы, о жизни крестьян. О нем у меня сохранилось самое дорогое воспоминание»². Другие старожилы лично не знали Чехова, но помнили высокого мужчину с черной бородкой клинышком, в оч-

¹ См. А. Н. Киреев. Чехов в Башкирии. — Газ. «Кызыл Башкортостан», 13 июля 1944 г. (на башк. яз.).

² Н. Кузьменко. Памятные места. — «Советская Башкирия», 26 января 1960 г.

ках, в черном костюме, белой рубашке с галстуком-бабочкой, в фуражке-шестиклннке. С ним рядом ходила красивая, улыбающаяся дама среднего роста в белом длинном платье с широким поясом и маленькой сумочкой на шнурке через плечо.

Общаясь с местным населением, Чехов видел его ужасающую бедность и несправие, к тому же год был засушливый, надвигался очередной голод. И писатель грустно отмечал, что «народ здесь неинтересный, вялый, не поющий». Тяжелая жизнь, изматывающая все духовные силы народа, полуголодное существование не располагали к веселым песням. Сердобольный писатель не мог, разумеется, спокойно отдыхать, видя страдания народа. И это, надо полагать, одна из серьезных причин, почему Чехов не дожил положенного срока лечения.

Чехов не раз отмечал в своих письмах, что население в здешних краях «все больше башкиры», не переставал восхищаться девственной башкирской природой. Так, в одном из писем к публицисту В. М. Соболевскому читаем: «Природа здесь, кстати сказать, чудесная; масса полевых цветов, поверхность гористая, много ручьев... И чувствуется скорый, жадный рост трав, так как лето кончается уже в августе, а жить и расти хочется. Садов нет. Охота, по-видимому, дивная; хариусы и форели ловятся в речке». О. Л. Книппер-Чехова в своих воспоминаниях также отмечает: «В Аксенове Антону Павловичу нравилась природа, длинные тени по степи после шести часов, фыркание лошадей в табуне, нравилась флора, река Дема (Аксаковская), куда мы ездили однажды на рыбную ловлю»¹.

После месячного пребывания в Башкирии на кумысе здоровье Антона Павловича значительно улучшилось, и 1 июля Чеховы отправились домой в Ялту, через Самару по Волге до Царицына и на Новороссийск. Однако с отъездом из Аксенова связи с Башкирией не прервались: позднее он не раз с удовольствием вспоминал о своем пребывании на кумысе. Так, из Ялты Чехов писал 20 июля 1901 года В. А. Гольцеву: «Я на кумысе жил хорошо, даже прибавился в весе, а здесь, в Ялте, опять захирел, стал кашлять и сегодня даже немножко поплевал кровью». О благотворном влиянии башкирского кумыса на его здоровье Чехов пишет также А. М. Горькому, московскому профессору М. А. Членову, актрисе О. О. Садовской, В. М. Лаврову, П. Ф. Иорданову и другим. Писатель И. А. Бунин вспоминал: «Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он поправился..., восторгался степью, лошадьми... и досадовал:

¹ Переписка А. П. Чехова и О. Л. Книппер. М., 1934, т. 1, стр. 39.

...только уж очень была серая публика и никаких удобств!»¹. Тем не менее, с некоторыми «кумысными знакомыми» Чехов поддерживал связи. Так, 23 января 1903 года он получил письмо от А. Б. Бернштейна и в тот же день ответил ему, а на другой день в письме к жене сообщал: «Получил письмо от Александра Борисовича, того самого студента, серьезного, который был в Андреевской санатории чем-то вроде вице-директора. Спрашивает, как здоровье, и, кстати, извещает, что уже врач. Тебе кланяется»².

В Башкирии бережно хранится память о пребывании Антона Павловича Чехова. Санаторий, в котором отдыхал и лечился великий русский писатель, теперь носит его имя. Прекрасные места, восхищавшие большого художника, увековечены его именем. Известно, что Чехов любил бывать на горе, где находился самодельный, врытый в землю стол и стул. На этом самом месте в память о писателе управляющий Андреевским санаторием А. А. Третьяков еще в 1904 году поставил беседку. Она стоит и по сей день, напоминая новому поколению о пребывании в этих местах замечательного писателя. Дом, в котором жил Чехов, находясь на кумысе, превращен в музей писателя. В музее собрано много книг, писем, фотографий А. П. Чехова, а также воспоминаний и картин, посвященных жизни и творчеству писателя.

В записной книжке Чехова имеются интересные записи, относящиеся ко времени его пребывания в Башкирии, некоторые из них, несомненно, являются творческими замыслами и, очевидно, только безвременная кончина помешала претворить их в жизнь. Чехов был также тесно связан с писателями, авторами многочисленных произведений различных жанров о Башкирии, среди них: А. А. Федоров, А. Г. Туркин, Ф. Д. Нефедов, В. В. Бруснянин, Н. А. Крашенинников. Он бескорыстно помогал им морально и творчески, заботясь лишь о судьбе родной литературы. Искали его поддержки и совершенно незнакомые люди. Так, 3 марта 1904 года Чехов пишет В. А. Гольцеву: «Некий г. Каратаев, мне неизвестный, прислал мне из Уфы несколько рассказов».

Близко знавший Чехова плодовитый литератор А. М. Федоров отмечал, что «чисто товарищеское отношение Чехова к молодым писателям проявилось особенно трогательно». И, заканчивая свои воспоминания о Чехове, он писал: «На его произведения история много лет спустя смело может положиться как на вернейший и ге-

¹ И. А. Бунин. Собр. соч. в 9-ти т. Т. 9, М., «Художественная литература», 1967, стр. 202.

² С. Б. Бернштейн. Я ему обязан многим... — «Литература и жизнь», 29 января 1960 г., № 13 (283), стр. 4.

ниальнейший диагноз, поставленный мучительной эпохе, в которую он жил, которая все же заставила его воскликнуть в торжественном предвидении:

«Услышим ангелов! Увидим небо в алмазах!»¹.

Беспощадно обличая социальное зло во всех его видах, Чехов всем своим творчеством напоминал людям о необходимости борьбы за свободу и счастье человека. Он жестоко бичует и страстно любит, беспощадно обличает и глубоко страдает, и все это во имя того, чтобы на земле как можно быстрее настало царство добра и справедливости. Чехов глубоко верил в счастливое будущее. «Прощай, старая жизнь! Здравствуй, новая жизнь!»— восклицал он устами своего героя в финале пьесы «Вишневый сад». Писатель приветствует эту новую жизнь, отдает ей весь жар своего сердца.

Антон Павлович Чехов — слава и гордость нашего народа. Величайший гуманизм писателя, бескорыстная, подвижническая любовь его к людям, пронизывающая все его творчество, подняли замечательного художника к самым высоким вершинам мировой культуры. Его человеколюбивое творчество находит живой отклик в душах всех честных людей нашей планеты.

Мурат Рахимкулов

¹ А. М. Федоров. Утро и другие рассказы. Московское книгоиздательство. Типография «Земля», стр. 221.

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флердоранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить... Ну, а ты как? Небось уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговики своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чиновничество!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги...

Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.

1883

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная?— слышит вдруг Очумелов.— Ребята, не пушай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубаше и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватает собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пушай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!..— говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеописанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает

золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопырив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут?— спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу.— Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю...— начинает Хрюкин, кашляя в кулак.— Насчет дров с Митрий Митричем,— и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пушай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевельну... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо...— говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями.— Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставляю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин,— обращается надзиратель к городовому,— узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Не медля! Она наверное бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас, как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить?— обращается Очумелов к Хрюкину.— Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб соврать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, сигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пушай мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандармах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская...— глубокомысленно замечает городской.— У генерала таких нет. У него всё больше легавые...

— Ты это верно знаешь...

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держат?! Где же у вас ум? Попадись этакая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская...— думает вслух городской.— На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская!— говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Эдаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего,— говорит Очумелов.— Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все...

— Это не наша,— продолжает Прохор.— Это генералова брата, что намеднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч?— спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления.— Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали!

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

КУХАРКА ЖЕНИТСЯ

Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину. В кухне происходило нечто, по его мнению, необыкновенное, доселе не виданное. За кухонным столом, на котором обыкновенно рубят мясо и крошат лук, сидел большой, плотный мужик в извозничьем кафтане, рыжий, бородатый, с большой каплей пота на носу. Он держал на пяти пальцах правой руки блюдечко и пил чай, причем так громко кусал сахар, что Гришину спину продирали мороз. Против него на грязном табурете сидела старуха нянька Аксинья Степановна и тоже пила чай. Лицо у няньки было серьезно и в то же время сияло каким-то торжеством. Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше свое лицо. А на ее лице Гриша видел целую иллюминацию: оно горело и переливалось всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно бледным. Она, не переставая, хваталась дрожащими руками за ножи, вилки, дрова, тряпки, двигалась, ворчала, стучала, но, в сущности, ничего не делала. На стол, за которым пили чай, она ни разу не взглянула, а на вопросы, задаваемые нянькой, отвечала отрывисто, сурово, не поворачивая лица.

— Кушайте, Данило Семеныч! — угощала нянька извозчика. — Да что вы все чай да чай? Вы бы водочки выкушали!

И нянька придвигала к гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение.

— Не потребляю-с... нет-с...— отнекивался извозчик. — Не невольте, Аксинья Степановна.

— Какой же вы... Извозчики, а не пьете... Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. Выкушайте!

Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки, и лицо его самого принимало не менее ехидное выражение: нет, мол, не поймаешь, старая ведьма!

— Не пью-с, увольте-с... При нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек может пить, потому он на одном месте сидит, наш же брат завсегда на виду, в публике. Не так ли-с? Пойдешь в кабак, а тут лошадь ушла; напьешься ежели — еще хуже: того и гляди, уснешь или с козел свалишься. Дело такое.

— А вы сколько в день выручаете, Данило Семеныч?

— Какой день. В иной день на зелененькую выездишь, а в другой раз так и без гроша ко двору поедешь. Дни разные бывают-с. Нонице наше дело совсем ничего не сто́ит. Извозчиков, сами знаете, хоть пруд пруди. сено дорогое, а седок пустяковый, норовит все на конке проехать. А все ж, благодарить бога, не на что жалиться. И сыты, и одеты, и... можем даже другого кого осчастливить (извозчик покосился на Пелагею)... ежели им по сердцу.

Что дальше говорилось, Гриша не слышал, Подошла к двери мамаша и послала его в детскую учиться.

— Ступай учиться. Не твое дело тут слушать!

Придя к себе в детскую, Гриша положил перед собой «Родное слово», но ему не читалось. Все только что виденное и слышанное вызвало в его голове массу вопросов.

«Кухарка женится...— думал он.— Странно. Не понимаю, зачем это жениться? Мамаша женилась на папаше, кузина Верочка — на Павле Андреиче. Но на папе и Павле Андреиче, так и быть уж, можно жениться: у них есть золотые цепочки, хорошие костюмы, у них всегда сапоги вычищенные; но жениться на этом страшном извозчике с красным носом, в валенках... фи! И почему это няньке хочется, чтоб бедная Пелагея женилась?»

Когда из кухни ушел гость, Пелагея явилась в комнаты и занялась уборкой. Волнение еще не оставило ее. Лицо ее было красно и словно испуганно. Она едва

касалась веником пола и по пяти раз мела каждый угол. Долго она не выходила из той комнаты, где сидела мамаша. Ее, очевидно, тяготило одиночество, и ей хотелось высказаться, поделиться с кем-нибудь впечатлениями, излить душу.

— Ушел! — проворчала она, видя, что мамаша не начинает разговора.

— А он, заметно, хороший человек, — сказала мамаша, не отрывая глаз от вышиванья. — Трезвый такой, степенный.

— Ей-богу, барыня, не выйду! — крикнула вдруг Пелагея, вся вспыхнув. — Ей-богу, не выйду!

— Ты не дури, не маленькая. Это шаг серьезный, нужно обдумать хорошенько, а так, зря, нечего кричать. Он тебе нравится?

— Выдумываете, барыня! — застыдилась Пелагея. — Такое скажут, что... ей-богу...

«Сказала бы: не нравится!» — подумал Гриша.

— Какая ты, однако, ломака... Нравится?

— Да он, барыня, старый! Гы-ы!

— Выдумывай еще! — окрысилась на Пелагею из другой комнаты нянька. — Сорока годов еще не исполнилось. Да на что тебе молодой? С лица, дура, воды не пить... Выходи, вот и все!

— Ей-богу, не выйду! — взвизгнула Пелагея.

— Блажишь! Какого лешего тебе еще нужно. Другая бы в ножки поклонилась, а ты — не выйду! Тебе бы все с почтальонами да лепетиторами перемигиваться! К Гришеньке лепетитор ходит, барыня, так она об него все свои глазищи обмозолила. У, бысстыжая!

— Ты этого Данилу раньше видала? — спросила барыня Пелагею.

— Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу, Аксинья откуда-то привела... черта окаянного... И откуда он взялся на мою голову?

За обедом, когда Пелагея подавала кушанья, все обедающие засматривали ей в лицо и дразнили ее извозчиком. Она страшно краснела и принужденно хихикала.

«Должно быть, совестно жениться... — думал Гриша. — Ужасно совестно!»

Все кушанья были пересолены, из недожаренных цыплят сочилась кровь, и, в довершение всего, во вре-

мя обеда из рук Пелагеи сыпались тарелки и ножи, как с похилившейся полки, но никто не сказал ей ни слова упрека, так как все понимали состояние ее духа. Раз только папаша с сердцем швырнул салфетку и сказал мамаше:

— Что у тебя за охота всех женить да замуж выдавать! Какое тебе дело! Пусть сами женятся, как хотят.

После обеда в кухне замелькали соседские кухарки и горничные, и до самого вечера слышалось шушуканье. Откуда они пронюхали о сватовстве — бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской за занавеской шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то всхлипывала, то хихикала. Заснувши после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагеи Черномором и ведьмой...

С другого дня наступило затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не было. Изредка только нянька одевалась в новую шаль, принимала торжественно-суровое выражение и уходила куда-то часа на два, очевидно для переговоров... Пелагея с извозчиком не видалась, и когда ей напоминали о нем, она вспыхивала и кричала:

— Да будь он трижды проклят, чтоб я о нем думала! Тьфу!

Однажды вечером в кухню, когда там Пелагея и нянька что-то усердно кроили, вошла мамаша и сказала:

— Выходить за него ты, конечно, можешь, твое это дело, но, Пелагея, знай, что он не может здесь жить... Ты знаешь, я не люблю, если кто в кухне сидит. Смотри же, помни... И тебя я не буду отпускать на ночь.

— И бог знает, что выдумываете, барыня! — взвизгнула кухарка.— Да что вы меня им попрекаете? Пущай он сбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему...

Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом. Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городских, унтер с нашивками, мальчик Филька... Этот Филька обыкновенно трется около прачешной и играет с собаками, теперь же он был причесан, умыт и держал икону в фольговой ризе. Посреди кухни стояла Пелагея в но-

вом ситцевом платье и с цветком на голове. Рядом с нею стоял извозчик. Оба молодые были красны, потны и усиленно моргали глазами.

— Ну-с... кажись, время... — начал унтер после долгого молчания.

Пелагея заморгала всем лицом и заревела... Унтер взял со стола большой хлеб, стал рядом с нянькой и начал благословлять. Извозчик подошел к унтеру, бухнул перед ним поклон и чмокнул его в руку. То же самое сделал он и перед Аксиньей. Пелагея машинально следовала за ним и тоже бухала поклоны. Наконец отворилась наружная дверь, в кухню пахнул белый туман, и вся публика с шумом двинулась из кухни на двор.

«Бедная, бедная!— думал Гриша, прислушиваясь к рыданиям кухарки.— Куда ее повели? Отчего папа и мама не заступятся?»

После венца до самого вечера в прачешной пели и играли на гармонике. Мамаша все время сердилась, что от няньки пахнет водкой и что из-за этих свадеб некому поставить самовар. Когда Гриша ложился спать, Пелагея еще не возвращалась.

«Бедная, плачет теперь где-нибудь в потемках! — думал он. — А извозчик на нее: цыц! цыц!»

На другой день утром кухарка была уже в кухне. Заходил на минуту извозчик. Он поблагодарил мамашу и, взглянув сурово на Пелагею, сказал:

— Вы же, барыня, поглядывайте за ней. Будьте заместо отца-матери. И вы тоже, Аксинья Степанна, не оставьте, посматривайте, чтоб все благородно... без шалостей... А также, барыня, дозвольте рубликов пять в счет ейного жалованья. Хомут надо купить новый.

Опять задача для Гриши: жила Пелагея на воле, как хотела, не отдавая никому отчета, и вдруг, ни с того ни с сего, явился какой-то чужой, который откуда-то получил право на ее поведение и собственность! Грише стало горько. Ему страстно, до слез захотелось приласкать эту, как он думал, жертву человеческого насилия. Выбрав в кладовой самое большое яблоко, он прокрался на кухню, сунул его в руку Пелагее и опрометью бросился назад.

УНТЕР ПРИШИБЕЕВ

— Унтер-офицер Пришибеев! Вы обвиняетесь в том, что третьего сего сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, волостного старшину Аляпова, сотского Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным?

Пришибеев, сморщенный унтер с колючим лицом, делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя:

— Ваше высокородие, господин мировой судья! Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Все это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой тихо, благородно, смотрю — стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался? — спрашиваю. Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: разойдись! Стал расталкивать народ, чтоб расходились по домам, приказал сотскому гнать взащей...

— Позвольте, вы ведь не урядник, не староста, — разве это ваше дело народ разгонять?

— Не его! Не его! — слышатся голоса из разных углов камеры. — Житья от него нету, вашескородие! Пятнадцать лет от него терпим! Как пришел со службы так, с той поры хоть из села беги. Замучил всех!

— Именно так, вашескородие! — говорит свидетель староста. — Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьба ли, или,

положим, случай какой, везде он кричит, шумит, всё порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами поглядывает, чтоб чего не вышло, словно свекор какой... Намеднись по избам ходил, приказывал, чтоб песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь.

— Погодите, вы еще успеете дать показание,— говорит мировой,— а теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!

— Слушаю-с! — хрипит унтер.— Вы, ваше высококородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять... Хорошо-с... А ежели беспорядки? Нешто можно позволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу позволять-с. Ежели я не стану их разгонять да взыскивать, то кто же станет? Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высококородие, знаю, как обходиться с людьми простого звания, и, ваше высококородие, я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенармус, в Варшаве служил, в штабе-с, а после того, изволите знать, как в чистую вышел, был в пожарных-с, а после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в швейцарах служил... Все порядки знаю-с. А мужик простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому — для его же пользы. Взять хоть это дело, к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утопый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок? Что урядник глядит? Отчего ты, говорю, урядник, начальству знать не даешь? Может, этот утопый покойник сам утоп, а может, тут дело Сибирью пахнет. Может, тут уголовное смертоубийство... А урядник Жигин никакого внимания, только папироску курит. «Что это, говорит, у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Нешто мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без внимания. «Я, говорит, еще вчера дал знать становому приставу?» Зачем же, спрашиваю, становому приставу? По какой статье свода законов? Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, — нешто в таких делах

становой может? Тут, говорю, дело уголовное, гражданское... Тут, говорю, скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И перво-наперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, говорю, зубья скалите? А урядник и говорит: «Мировому, говорит, судье такие дела не подсудны». От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал?—обращается унтер к уряднику Жигину.

— Сказывал.

— Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе: «Мировому судье такие дела не подсудны». Все слыхали, как ты это самое... Меня, ваше высокородие, в жар бросило, я даже сробел весь. Повтори, говорю, повтори, такой-сякой, что ты сказал! Он опять эти самые слова... Я к нему. Как же, говорю, ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский урядник, да против власти? А? Да ты, говорю, знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения? Да ты знаешь, говорю, куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит: «Мировой, говорит, дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны». Так и сказал, все слышали... Как же, говорю, ты смеешь власть унижать? Ну, говорю, со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало, в Варшаве или когда в швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма: «Поди, говорю, сюда, кавалер»,— и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь?.. Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, я размахнулся и... конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегоньку, чтоб не смел про ваше высокородие такие слова говорить... За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника... И пошло... Погорячился, ваше высокородие, ну, да ведь без того нельзя, чтоб не побить. Ежели глупого

человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особенно ежели за дело... ежели беспорядок...

— Позвольте! За непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, сотский...

— Уряднику за всем не углядеть, да урядник и не понимает того, что я понимаю...

— Но поймите, что это не ваше дело!

— Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с... Люди безобразят, и не мое дело! Что ж мне хвалить их, что ли? Они вот жалятся вам, что я песни петь запрещаю... Да что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтоб делом каким заниматься, они песни... А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня записано-с!

— Что у вас записано?

— Кто с огнем сидит.

Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:

— «Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров».

— Довольно! — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.

Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор: на месяц под арест!

— За что?! — говорит он, разводя в недоумении руками. — По какому закону?

И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом:

— Наррод, расходись! Не толпись! По домам!

ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он.— И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господ бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно

почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, шурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать?— говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку.

Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть,— продолжал он,— богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али за-место Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пушают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крикал, и мороз крикал, а глядя на них, и Ванька крикал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помрять? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка,— продолжал Ванька,— Христом-богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А наемдни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насили очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

ВРАГИ

В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.

По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кирилов, как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что казалось, от появления этого лица в передней стало светлее...

— Доктор у себя?— быстро спросил вошедший.

— Я дома,— ответил Кирилов.— Что вам угодно?

— А, это вы? Очень рад!— обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках.— Очень... очень рад! Мы с вами знакомы!.. Я — Абогин... имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал... Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной.... У меня опасно заболела жена... И экипаж со мной...

По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее

детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов.

— Я боялся не застать вас,— продолжал он.— Пока ехал к вам, исстрадался душой... Одевайтесь и едете, ради бога... Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете... Поговорили мы... потом сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватается себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать, и... я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой брызгал... лежит, как мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поедемте... У нее и отец умер от аневризмы...

Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.

Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:

— Извините, я не могу ехать... Минут пять назад у меня... умер сын...

— Неужели?— прошептал Абогин, делая шаг назад.— Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпадение... и как нарочно!

Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.

— Послушайте,— горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав,— я отлично понимаю ваше положение! Видит бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради бога! Не за себя я прошу... Не я болен!

Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной, машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на него-ревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и,

вероятно, уже не помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, через шкафы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню... Доктор опустил в кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.

Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Все до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и все отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе склянок, коробок и баночек, и большая лампа на комодe ярко освещали всю комнату. На кровати, у самого окна, лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с каждым мгновением все более темнели и уходили во внутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках! Припадала она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконец нашла для своего утомленного тела. Одежда, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутылка с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый,— все замерло и казалось погруженным в покой.

Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестящим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.

Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеоб-

щем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогательное сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность и их право иметь детей! Доктору сорок четыре года, он уже сед и выглядит стариком; его поблекшей и больной жене тридцать пять лет. Андрей был не только единственным, но и последним.

В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю.

Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.

— Наконец-то! — вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. — Едемте, пожалуйста!

Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил...

— Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать! — сказал он, оживляясь. — Как странно!

— Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение... сочувствую вам! — сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. — Но ведь я не за себя прошу... Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, время дорого! Едемте, прошу вас!

— Ехать я не могу! — сказал с расстановкой Кирилов и шагнул в залу.

Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.

— У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасти жизнь челове-

ческую! — продолжал он умолять, как нищий. — Эта жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!

— Человеколюбие — палка о двух концах, — раздраженно сказал Кирилов. — Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу! Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не годен... не поеду ни за что, да и на кого я жену оставляю? Нет, нет...

Кирилов замахал кистями рук и попятился назад.

— И... и не просите! — продолжал он испуганно. — Извините меня... По тринадцатому тому законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот... Извольте, тащите, но... я не годен... Даже говорить не в состоянии. Извините...

— Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! — сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. — Бог с ним, с тринадцатым томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права. Хотите — поезжайте, не хотите — бог с вами, но я не к воле вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, понять мой ужас?

Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него холодными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры, и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной.

Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще

несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и проч., доктор спросил угрюмо:

— Далеко ехать?

— Что-то около тринадцати — четырнадцати верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!

Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:

— Хорошо, едемте!

Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.

На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.

— Верьте, я сумею оценить ваше великодушие,— бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску.— Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!

Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной сыростью и слышался шепот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени,— и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.

Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал:

— Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.

И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды, и задвигался.

— Послушайте, отпустите меня,— сказал он тоскливо.— Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!

Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади сквозь скудный свет звезд видна была дорога и исчезающие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо, далеко на ней там и сям, вероятно на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел.

Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, болезненное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу...

Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда наконец коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.

— Если что случится, то... я не переживу,— сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки.— Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно,— прибавил он, вслушиваясь в тишину.

В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесанная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные угловатые манеры — все это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный солидный блондин, с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом скюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с какими он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нет и ничего не слышно,— сказал он, идя по лестнице.— Суматохи нет. Дай-то бог!

Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.

— Ну, посидите тут, доктор,— сказал Абогин,— а я... сейчас. Я пойду погляжу и предупреджу.

Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, поко-

сившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Абогин.

Было тихо... Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук «а!», прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкафа, и опять все стихло. Подождав минут пять. Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин.

У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли...

Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками.

— Обманула! — крикнул он, сильно напирая на слог *ну*. — Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутком Папчинским! Боже мой!

Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить:

— Ушла! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!

Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина.

— Позвольте, где же больная? — спросил он.

— Больная! Больная! — крикнул Абогин, смеясь, плача, и все еще потрясая кулаками. — Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутком, тупым клоуном, альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились

слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью.

— Позвольте, как же это?— спросил он, с любопытством оглядываясь.— У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.

— И я не видел... не понимал! — говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком, и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль.— Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! Зачем в карете? И я не видел! Колпак!

— Не... не понимаю! — бормотал доктор.— Ведь это что же такое! Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то невозможное... первый раз в жизни вижу!

С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустил в кресло.

— Ну, разлюбила, полюбила другого — бог с тобой, но к чему же обман, к чему этот подлый, изменнический фортель? — говорил плачущим голосом Абогин.— К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор,— горячо сказал он, подходя к Кирилову.— Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре... Ни разу я не поглядел на нее косо... не подавал никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более что знаешь мои взгляды на этот счет...

Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренне изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разобла-

чал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей свою душу, и несомненно ему стало бы легче. Кто знает, послушай его доктор, почувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачем вы все это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! — крикнул он и стукнул кулаком по столу.— Не нужны мне ваши пошлые тайны, черт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачем вы меня сюда привезли?— продолжал доктор, тряся бородой.— Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйте гуманными идеями, играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью)—играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

— Позвольте, что это все значит? — спросил Абогин краснея.

— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами¹, ну и считайте, но никто не дал

вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!

— Как вы смеете говорить мне это?— спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.

— Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привезти меня сюда выслушивать пошлости?— крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу.— Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?

— Вы с ума сошли!— крикнул Абогин.— Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

— Несчастлив,— презрительно ухмыльнулся доктор.— Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопай, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь!— взвизнул Абогин.— За такие слова... бьют! Понимаете?

Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.

— Вот вам за ваш визит!— сказал он, шевеля ноздрями.— Вам заплачено!

— Не смеете вы предлагать мне деньги!— крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки.— За оскорбление деньгами не платят!

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гнев продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой!— крикнул доктор задыхаясь.

¹ людьми дурного тона (от франц. *mauvais ton*).

Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.

— Где вы попрятались, черт бы вас взял?! — набросился на него хозяин, сжимая кулаки.— Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой! — крикнул он, когда лакей повернулся уходить.— Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!

В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали.

К первому уже вернулись и выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество.

Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его все еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости...

Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

СПАТЬ ХОЧЕТСЯ

Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет:

Баю-баюшки-баю,
А я песенку спою..

Перед образом горит зеленая лампадка; через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на Варьку.. Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром.

Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю,— мурлычет она,— тебе каши наварю...

В печке кричит сверчок. В соседней комнате, за дверью прохрапывает хозяин и подмастерье Афанасий... Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет — и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, по-

тому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее.

Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и в ее наполовину уснувшем мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью; по шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени; по обе стороны сквозь холодный, суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тенями падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» — спрашивает Варька. «Спать, спать!» — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их.

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою... — мурлычет Варька и уже видит себя в темной, душной избе.

На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, «разыгралась грыжа». Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому «бу-бу-бу». Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу; его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью.

— Засветите огонь, — говорит он.

— Бу-бу-бу... — отвечает Ефим.

Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку.

— Сейчас, батюшка, сейчас, — говорит Пелагея, бросается вон из избы и немного погодя возвращается с огарком.

Щеки у Ефима розовые, глаза блестят и взгляд как

то особенно остр, точно Ефим видит насквозь и избу и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумал?— говорит доктор, нагибаясь к нему.— Эге! Давно ли это у тебя?

— Чего-с? Помирать, ваше благородие, пришло время... Не быть мне в живых...

— Полно вздор говорить... Вылечим!

— Это как вам угодно, ваше благородие, благодарим покорно, а только мы понимаем... Коли смерть пришла, что уж тут.

Доктор с четверть часа возится с Ефимом; потом поднимается и говорит:

— Я ничего не могу поделывать... Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай... Непременно поезжай! Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь?

— Батюшка, да на чем же он поедет?— говорит Пелагея.— У нас нет лошади.

— Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь.

Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет...

Но вот наступает хорошее, ясное утро. Пелагеи нет дома: она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет:

— Баю-баюшки-баю, а я песенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчет:

— Ночью вправили ему, а к утру богу душу отдал... Царство небесное, вечный покой... Сказывают, поздно захватили... Надо бы раньше...

Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стучается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая?— говорит он. — Дите плачет, а ты спишь?

Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталон и пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять

она видит шоссе, покрытое жидкой грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать; она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и то-ропит ее. Обе они спешат в город наниматься.

— Подайте милостынки Христа ради! — просит мать у встречных.— Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос.— Подай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко.— Спишь, подлая?

Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело: нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синееет воздух, тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро.

— Возьми! — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку.— Плачет. Должно, сглазили.

Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется! Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела.

— Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина.

Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо и как проясняются мысли.

— Варька, поставь самовар! — кричит хозяйка.

Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ:

— Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко... И вдруг калоша растет,

пухнет, наполняет собою всю комнату, Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах.

— Варька, помой снаружи лестницу, а то от заказчиков совестно!

Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топтит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной.

Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать.

День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слипающиеся глаза и обещает ей скорый, крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости.

— Варька, ставь самовар! — кричит хозяйка.

Самовар у хозяев маленький, и, прежде чем гости напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чая Варька стоит целый час на одном месте, глядит на гостей и ждет приказаний.

— Варька, сбегай купи три бутылки пива!

Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон.

— Варька, сбегай за водкой! Варька, где штопор? Варька, почисть селедку!

Но вот наконец гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказ.

В печке кричит сверчок; зеленое пятно на потолке и тени от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову.

— Баю-баюшки-баю,— мурлычет она,— а я песенку спую...

А ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею,

отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить.

Этот враг — ребенок.

Она смеется. Ей удивительно: как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представление овладевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам... Убить ребенка, а потом спать, спать, спать....

Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая...

ПОПРЫГУНЬЯ

I

На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

— Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть?— говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему это она вышла за простого, очень обыкновенного и ничем не замечательного человека.

Ее муж, Осип Степаныч Дымов, был врачом и имел чин титулярного советника. Служил он в двух больницах: в одной сверхштатным ординатором, а в другой — прозектором. Ежедневно от девяти часов утра до полудня он принимал больных и занимался у себя в палате, а после полудня ехал на конке в другую больницу, где вскрывал умерших больных. Частная практика его была ничтожна, рублей на пятьсот в год. Вот и все. Что еще можно про него сказать? А между тем Ольга Ивановна и ее друзья и добрые знакомые были не совсем обыкновенные люди. Каждый из них был чем-нибудь замечателен и немножко известен, имел уже имя и считался знаменитостью или же хотя и не был еще знаменит, но зато подавал блестящие надежды. Артист из драматического театра, большой, давно признанный талант, изящный, умный и скромный человек и отличный чтец, учивший Ольгу Ивановну читать; певец из оперы, добродушный толстяк, со вздохом уверявший Ольгу Ивановну, что она губит себя: если бы она не ленилась и взяла себя в руки, то из нее вышла бы замечательная певица; затем несколько художников и во главе их жанрист,

анималист и пейзажист Рябовский, очень красивый белокурый молодой человек, лет двадцати пяти, имевший успех на выставках и продавший свою последнюю картину за пятьсот рублей; он поправлял Ольге Ивановне ее этюды и говорил, что из нее, быть может, выйдет толк; затем виолончелист, у которого инструмент плакал и который откровенно сознавался, что из всех знакомых ему женщин умеет аккомпанировать одна только Ольга Ивановна; затем литератор, молодой, но уже известный, писавший повести, пьесы и рассказы. Еще кто? Ну, еще Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор и виньетист, сильно чувствовавший старый русский стиль, былинку и эпос; на бумаге, на фарфоре и на закопченных тарелках он производил буквально чудеса. Среди этой артистической, свободной и избалованной судьбою компании, правда деликатной и скромной, но вспоминавшей о существовании каких-то докторов только во время болезни и для которой имя Дымов звучало так же безразлично, как Сидоров или Тарасов,— среди этой компании Дымов казался чужим, лишним и маленьким, хотя был высок ростом и широк в плечах. Казалось, что на нем чужой фрак и что у него приказчицкая бородка. Впрочем, если бы он был писателем или художником, то сказали бы, что своей бородкой он напоминает Золя.

Артист говорил Ольге Ивановне, что со своими льяными волосами и в венчальном наряде она очень похожа на стройное вишневое деревцо, когда весною оно сплошь бывает покрыто нежными белыми цветами.

— Нет, вы послушайте! — говорила ему Ольга Ивановна, хватая его за руку. — Как это могло вдруг случиться? Вы слушайте, слушайте... Надо вам сказать, что отец служил вместе с Дымовым в одной больнице. Когда бедняжка отец заболел, то Дымов по целым дням и ночам дежурил около его постели. Столько самопожертвования! Слушайте, Рябовский... И вы, писатель, слушайте, это очень интересно. Подойдите поближе. Сколько самопожертвования, искреннего участия! Я тоже не спала ночи и сидела около отца, и вдруг — здравствуйте, победила добра молодца! Мой Дымов врезался по самые уши. Право, судьба бывает так причудлива. Ну, после смерти отца он иногда бывал у меня, встречался на улице и в один прекрасный вечер

вдруг — бац! — сделал предложение... как снег на голову... Я всю ночь проплакала и сама влюбилась адски. И вот, как видите, стала супругой. Не правда ли, в нем есть что-то сильное, могучее, медвежье? Теперь его лицо обращено к нам в три четверти, плохо освещено, но когда он обернется, вы посмотрите на его лоб. Рябовский, что вы скажете об этом лбе? Дымов, мы о тебе говорим! — крикнула она мужу. — Иди сюда. Протяни свою честную руку Рябовскому... Вот так. Будьте друзьями.

Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал:

— Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?

II

Ольге Ивановне было двадцать два года, Дымову тридцать один. Зажили они после свадьбы превосходно. Ольга Ивановна в гостиной увешала все стены сплошь своими и чужими этюдами в рамках и без рам, а около рояля и мебели устроила красивую тесноту из китайских зонтов, мольбертов, разноцветных тряпочек, кинжалов, бюстиков, фотографий... В столовой она оклеила стены лубочными картинками, повесила лапти и серпы, поставила в углу косу и грабли, и получилась столовая в русском вкусе. В спальне она, чтобы похоже было на пещеру, задрапировала потолок и стены темным сукном, повесила над кроватями венецианский фонарь, а у дверей поставила фигуру с алебардой. И все находили, что у молодых супругов очень миленький уголок.

Ежедневно, вставши с постели часов в одиннадцать, Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, писала что-нибудь масляными красками. Потом, в первом часу, она ехала к своей портнихе. Так как у нее и Дымова денег было очень немного, в обрез, то, чтобы часто появляться в новых платьях и поражать своими нарядами, ей и ее портнихе приходилось пускаться на хитрости. Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих кусочков тюля, кружев, плюша и шелка выходили просто чудеса, нечто обворожительное, не платье, а мечта. От портнихи Ольга Ивановна обыкновенно ехала к какой-нибудь зна-

комой актрисе, чтобы узнать театральные новости и кстати похлопотать насчет билета к первому представлению новой пьесы или к бенефису. От актрисы нужно было ехать в мастерскую художника или на картинную выставку, потом к кому-нибудь из знаменитостей — приглашать к себе, или отдать визит, или просто поболтать. И везде ее встречали весело и дружелюбно и уверяли ее, что она хорошая, милая, редкая... Те, которых она называла знаменитыми и великими, принимали ее, как свою, как ровню, и пророчили ей в один голос, что при ее талантах, вкусе и уме, если она не разбросается, выйдет большой толк. Она пела, играла на рояли, писала красками, лепила, участвовала в любительских спектаклях, но все это не как-нибудь, а с талантом; делала ли она фонарики для иллюминации, рядилась ли, завязывала ли кому галстук — все у нее выходило необыкновенно художественно, грациозно и мило. Но ни в чем ее талантливость не сказывалась так ярко, как в ее умение быстро знакомиться и коротко сходить с знаменитыми людьми. Стоило кому-нибудь прославиться хоть немножко и заставить о себе говорить, как она уж знакомилась с ним, в тот же день дружила и приглашала к себе. Всякое новое знакомство было для нее сущим праздником. Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить своей жажды. Старые уходили и забывались, приходили на смену им новые, но и к этим она скоро привыкала или разочаровывалась в них и начинала жадно искать новых и новых великих людей, находила и опять искала. Для чего?

В пятом часу она обедала дома с мужем. Его простота, здравый смысл и добродушие приводили ее в умиление и восторг. Она то и дело вскакивала, порывисто обнимала его голову и осыпала ее поцелуями.

— Ты, Дымов, умный, благородный человек, — говорила она, — но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусством. Ты отрицаешь и музыку и живопись.

— Я не понимаю их, — говорил он кротко. — Я всю жизнь занимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами.

— Но ведь это ужасно, Дымов!

— Почему же? Твои знакомые не знают естественных наук и медицины, однако же ты не ставишь им этого в упрек. У каждого свое. Я не понимаю пейзажей и опер, но думаю так: если одни умные люди посвящают им всю свою жизнь, а другие умные люди платят за них громадные деньги, то, значит, они нужны. Я не понимаю, но не понимать не значит отрицать.

— Дай я пожму твою честную руку!

После обеда Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом в театр или на концерт и возвращалась домой после полуночи. Так каждый день.

По средам у нее бывали вечеринки. На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали, а развлекали себя разными искусствами. Актер из драматического театра читал, певец пел, художники рисовали в альбомы, которых у Ольги Ивановны было множество, виолончелист играл, и сама хозяйка тоже рисовала, лепила, пела и аккомпанировала. В промежутках между чтением, музыкой и пением говорили и спорили о литературе, театре и живописи. Дам не было, потому что Ольга Ивановна всех дам, кроме актрис и своей портнихи, считала скучными и пошлыми. Ни одна вечеринка не обходилась без того, чтобы хозяйка не вздрагивала при каждом звонке и не говорила с победным выражением лица: «Это он!», разумея под словом «он» какую-нибудь новую приглашенную знаменитость. Дымова в гостиной не было, и никто не вспоминал об его существовании. Но ровно в половине двенадцатого отворялась дверь, ведущая в столовую, показывался Дымов со своею добродушною кроткою улыбкой и говорил, потирая руки:

— Пожалуйте, господа, закусить.

Все шли в столовую и всякий раз видели на столе одно и то же: блюдо с устрицами, кусок ветчины или телятины, сардины, сыр, икру, грибы, водку и два графина с вином.

— Милый мой метрдотель!— говорила Ольга Ивановна, всплескивая руками от восторга.— Ты просто очарователен! Господа, посмотрите на его лоб! Дымов, повернись в профиль. Господа, посмотрите: лицо бенгальского тигра, а выражение доброе и милое, как у оленя. У, милый!

Гости ели и, глядя на Дымова, думали: «В самом деле, славный малый», но скоро забывали о нем и продолжали говорить о театре, музыке и живописи.

Молодые супруги были счастливы, и жизнь их текла как по маслу. Впрочем, третья неделя их медового месяца была проведена не совсем счастливо, даже печально. Дымов заразился в больнице рожей, пролежал в постели шесть дней и должен был остричь догола свои красивые черные волосы. Ольга Ивановна сидела около него и горько плакала, но, когда ему полегчало, она надела на его стриженую голову беленький платок и стала писать с него бедуина. И обоим было весело. Дня через три после того, как он, выздоровевши, стал опять ходить в больницы, с ним произошло новое недоразумение.

— Мне не везет, мама! — сказал он однажды за обедом. — Сегодня у меня было четыре вскрытия, и я себе сразу два пальца порезал. И только дома я это заметил.

Ольга Ивановна испугалась. Он улыбнулся и сказал, что это пустяки и что ему часто приходится во время вскрытий делать себе порезы на руках.

— Я увлекаюсь, мама, и становлюсь рассеянным.

Ольга Ивановна с тревогой ожидала трупного заражения и по ночам молилась богу, но все обошлось благополучно. И опять потекла мирная счастливая жизнь без печалей и тревог. Настоящее было прекрасно, а на смену ему приближалась весна, уже улыбавшаяся издали и обещавшая тысячу радостей. Счастью не будет конца! В апреле, в мае и в июне дача далеко за городом, прогулки, этюды, рыбная ловля, соловьи, а потом, с июля до самой осени, поездка художников на Волгу, и в этой поездке, как неперемный член сосьете¹, будет принимать участие и Ольга Ивановна. Она уже сшила себе два дорожных костюма из холстинки, купила на дорогу красок, кистей, холста и новую палтиру. Почти каждый день к ней приходил Рябовский, чтобы посмотреть, какие она сделала успехи по живописи. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко сжимал губы, сопел и говорил:

¹ общества (от франц. *société*).

— Так-с... Это облако у вас кричит: оно освещено не по-вечернему. Передний план как-то сжеван и что-то, понимаете ли, не то... А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит... надо бы угол этот потемнее взять. А в общем недурственно... Хвалю.

И чем он непонятнее говорил, тем легче Ольга Ивановна не понимала.

III

На второй день троицы после обеда Дымов купил закусок и конфет и поехал к жене на дачу. Он не виделся с нею уже две недели и сильно соскучился. Сидя в вагоне и потом отыскивая в большой роще свою дачу, он все время чувствовал голод и утомление и мечтал о том, как он на свободе поужинает вместе с женой и потом завалится спать. И ему весело было смотреть на свой сверток, в котором были завернуты икра, сыр и белорыбца.

Когда он отыскал свою дачу и узнал ее, уже заходило солнце. Старуха горничная сказала, что барыни нет дома и что, должно быть, они скоро придут. На даче, очень неприглядной на вид, с низкими потолками, оклеенными писчею бумагой, и с неровными щелистыми полами, было только три комнаты. В одной стояла кровать, в другой на стульях и окнах валялись холсты, кисти, засаленная бумага и мужские пальто и шляпы, а в третьей Дымов застал трех каких-то незнакомых мужчин. Двое были брюнеты с бородками, и третий, совсем бритый и толстый, по-видимому — актер. На столе кипел самовар.

— Что вам угодно?— спросил актер басом, нелюди-мо оглядывая Дымова.— Вам Ольгу Ивановну нужно? Погодите, она сейчас придет.

Дымов сел и стал дожидаться. Один из брюнетов, сонно и вяло поглядывая на него, налил себе чаю и спросил:

— Может, чаю хотите?

Дымову хотелось и пить, и есть, но, чтобы не портить себе аппетита, он отказался от чая. Скоро послышались шаги и знакомый смех; хлопнула дверь, и в комнату вбежала Ольга Ивановна в широкополой шляпе и с ящичком в руке, а вслед за нею с большим зонтом и со

складным стулом вошел веселый, краснощекий Рябовский.

— Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и вспыхнула от радости. — Дымов! — повторила она, кладя ему на грудь голову и обе руки. — Это ты! Отчего ты так долго не приезжал? Отчего? Отчего?

— Когда же мне, мама? Я всегда занят, а когда бываю свободен, то все случается так, что расписание поездов не подходит.

— Но как я рада тебя видеть! Ты мне всю, всю ночь снился, и я боялась, как бы ты не заболел. Ах, если б ты знал, как ты мил, как ты кстати приехал! Ты будешь моим спасителем. Ты один только можешь спасти меня! Завтра будет здесь преоригинальная свадьба, — продолжала она, смеясь и завязывая мужу галстук. — Женится молодой телеграфист на станции, некто Чикельдеев. Красивый молодой человек, ну, неглупый и есть в лице, знаешь, что-то сильное, медвежье... Можно с него молодого варяга писать. Мы, все дачники, принимаем в нем участие и дали ему честное слово быть у него на свадьбе... Человек небогатый, одинокий, робкий, и, конечно, было бы грешно отказать ему в участии. Представь, после обедни венчанье, потом из церкви все пешком до квартиры невесты.. понимаешь, роша, пение птиц, солнечные пятна на траве, и все мы разноцветными пятнами на ярко-зеленом фоне — преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов. Но, Дымов, в чем я пойду в церковь? — сказала Ольга Ивановна и сделала плачущее лицо. — У меня здесь ничего нет, буквально ничего! Ни платья, ни цветов, ни перчаток... Ты должен меня спасти. Если приехал, то, значит, сама судьба велит тебе спасти меня. Возьми, мой дорогой, ключи, поезжай домой и возьми там в гардеробе мое розовое платье. Ты его помнишь, оно висит первое... Потом в кладовой с правой стороны на полу ты увидишь две картонки. Как откроешь верхнюю, так там все тюль, тюль и разные лоскутки, а под ними цветы. Цветы все вынь осторожно, постарайся, дуся, не помять их, потом я выберу... И перчатки купи.

— Хорошо, — сказал Дымов. — Я завтра поеду и пришлю.

— Когда же завтра? — спросила Ольга Ивановна и посмотрела на него с удивлением. — Когда же ты успеешь завтра? Завтра отходит первый поезд в девять ча-

сов, а венчание в одиннадцать. Нет, голубчик, надо сегодня, обязательно сегодня! Если завтра тебе нельзя будет приехать, то пришли с рассыльным. Ну, иди же... Сейчас должен прийти пассажирский поезд. Не опоздай, дуся.

— Хорошо.

— Ах, как мне жаль тебя отпускать,— сказала Ольга Ивановна, и слезы навернулись у нее на глазах. — И зачем я, дура, дала слово телеграфисту?

Дымов быстро выпил стакан чаю, взял баранку и, кротко улыбаясь, пошел на станцию. А икру, сыр и белорыбицу съели два брюнета и толстый актер.

IV

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с нею стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде — не тени, а сон, что в виду этой колдовской воды с фантастическим блеском, в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная, единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью — зачем же жить?

А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница и что где-то там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают ее успех, слава, любовь народа... Когда она не мигая долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью

окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его, независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы.

— Становится свежо, — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула.

Рябовский укутал ее в свой плащ и сказал печально.

— Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?

Он все время глядел на нее не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него.

— Я безумно люблю вас... — шептал он, дыша ей на щеку. — Скажите мне одно слово, и я не буду жить, брошу искусство... — бормотал он в сильном волнении. — Любите меня, любите...

— Не говорите так, — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. — Это страшно. А Дымов?

— Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг!

У Ольги Ивановны забилося сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким... В самом деле: что Дымов? почему Дымов? какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, и не сон ли он только?

«Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, — думала она, закрывая лицо руками. — Пусть осуждают там, проклинаят, а я вот назло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну... Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!»

— Ну что? Что? — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. — Ты меня любишь? Да? Да? О, какая ночь! Чудная ночь!

— Да, какая ночь! — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы.

— К Кинешме подходим! — сказал кто-то на другой стороне палубы.

Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета.

— Послушайте, — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, — принесите нам вина.

Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими, благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь:

— Я устал.

И прислонился головою к борту.

V

Второго сентября день был теплый и тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил легкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. За чаем Рябовский говорил Ольге Ивановне, что живопись — самое неблагодарное и самое скучное искусство, что он не художник, что одни только дураки думают, что у него есть талант, и вдруг, ни с того ни с сего, схватил нож и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он, мрачный, сидел у окна и смотрел на Волгу. А Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все, все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени. И казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазные отражения лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны, и вороны летали около Волги и дразнили ее: «Голая! Голая!» Рябовский слушал их карканье и думал о том, что он уже выдохся и потерял талант, что все на этом свете условно, относительно и глупо и что не следовало бы связывать себя с этой женщиной... Одним словом, он был не в духе и хандрил.

Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в каби-

нете мужа; воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделывают теперь? Вспоминают ли о ней? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов? Милый Дымов! Как кротко и детски-жалобно он просит ее в своих письмах поскорее ехать домой! Каждый месяц он высылал ей по семьдесят пять рублей, а когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. Какой добрый, великодушный человек! Путешествие утомило Ольгу Ивановну, она скучала, и ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которое она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до двадцатого сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо!

— Боже мой, — простонал Рябовский, — когда же наконец будет солнце? Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца!..

— А у тебя ссть этюд при облачном небе, — сказала Ольга Ивановна, выходя из-за перегородки. — Помнишь, на правом плане лес, а на левом — стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить.

— Э! — поморщился художник. — Кончить! Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать!

— Как ты ко мне переменялся! — вздохнула Ольга Ивановна.

— Ну, и прекрасно.

У Ольги Ивановны задрожало лицо, она отошла к печке и заплакала.

— Да, недоставало только слез. Перестаньте! У меня тысячи причин плакать, однако же я не плачу.

— Тысячи причин! — всхлипнула Ольга Ивановна. — Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да! — сказала она и зарыдала. — Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, хотя этого скрыть нельзя и им все давно уже известно.

— Ольга, я об одном прошу вас, — сказал художник умоляюще и приложив руку к сердцу, — об одном: не мучьте меня! Больше мне от вас ничего не нужно!

— Но поклянитесь, что вы меня все еще любите!

— Это мучительно! — процедил сквозь зубы художник и вскочил. — Кончится тем, что я брошусь в Волгу или сойду с ума! Оставьте меня!

— Ну, убейте, убейте меня! — крикнула Ольга Ивановна. — Убейте!

Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол, потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы.

По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою, потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым и наслаждается физическим покоем и чистотой и как вечером сидит в театре и слушает Мазини. И тоска по цивилизации, по городскому шуму и известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, чтобы готовить обед. Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами, рассматривали этюды и говорили себе в утешение, что Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. А дешевые часы на стенке: тик-тик-тик... Озябшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат, и слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки...

Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку и, бледный, замученный, в грязных сапогах, опустился на лавку и закрыл глаза.

— Я устал... — сказал он и задвигал бровями, сясь поднять веки.

Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его.

— Что такое? — спросил он, вздрогнув, точно к нему прикоснулись чем-то холодным, и открыл глаза. — Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас.

Он отстранил ее руками и отошел, и ей показалось,

что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку со щами, и Ольга Ивановна видела, как она обмочила во щях свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и ши, которые стал жадно есть Рябовский, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасными. Она вдруг почувствовала себя оскорбленной и сказала холодно:

— Нам нужно расстаться на некоторое время, а то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду.

— На чем? На палочке верхом?

— Сегодня четверг, значит, в половине десятого придет пароход.

— А? Да, да... Ну что ж, поезжай... — сказал мягко Рябовский, утираясь вместо салфетки полотенцем. — Тебе здесь скучно и делать нечего, и надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся.

Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, — спрашивала она себя, — что скоро она будет писать в гостиную, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца, и она уже не сердилась на художника.

— Краски и кисти я оставлю тебе, Рябуша, — говорила она. — Что останется, привезешь... Смотри же, без меня тут не ленись, не хандри, а работай. Ты у меня молодчина, Рябуша.

В девять часов Рябовский на прощанье поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход и увез ее.

Приехала она домой через двое с половиной суток. Не снимая шляпы и ватерпруфа, тяжело дыша от волнения, она прошла в гостиную, а оттуда в столовую. Дымов без сюртука, в расстегнутой жилетке сидел за столом и точил нож о вилку; перед ним на тарелке лежал рябчик. Когда Ольга Ивановна входила в квартиру, она была убеждена, что необходимо скрыть все от мужа и что на это хватит у нее уменья и силы, но теперь, когда она увидела широкую, кроткую, счастливую улыбку и блестящие, ра-

достные глаза, она почувствовала, что скрывать от этого человека так же подло, отвратительно и так же невозможно и не под силу ей, как оклеветать, украсть или убить, и она в одно мгновение решила рассказать ему все, что было. Давши ему поцеловать себя и обнять, она опустила перед ним на колени и закрыла лицо.

— Что? Что, мама? — спросил он нежно. — Соскучилась?

Она подняла лицо, красное от стыда, и поглядела на него виновато и умоляюще, но страх и стыд помешали ей говорить правду.

— Ничего... — сказала она. — Это я так...

— Сядем, — сказал он, поднимая ее и усаживая за стол. — Вот так... Кушай рябчика. Ты проголодалась, бедняжка.

Она жадно вдыхала в себя родной воздух и ела рябчика, а он с умилением глядел на нее и радостно смеялся.

VI

По-видимому, с середины зимы Дымов стал догадываться, что его обманывают. Он, как будто у него была совесть нечиста, не мог уже смотреть жене прямо в глаза, не улыбался радостно при встрече с нею и, чтобы меньше оставаться с нею наедине, часто приводил к себе обедать своего товарища Коростелева, маленького стриженного человечка с помятым лицом, который, когда разговаривал с Ольгой Ивановной, то от смущения расстегивал все пуговицы своего пиджака и опять их застегивал и потом начинал правой рукой щипать свой левый ус. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком стоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные невриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывши труп с диагностикой «злокачественная анемия», нашел рак поджелудочной железы. И казалось, что оба они вели медицинский разговор только для того, чтобы дать Ольге Ивановне возможность молчать, то есть не лгать. После обеда Коростелев садился за рояль, а Дымов вздыхал и говорил ему:

— Эх, брат! Ну, да что! Сыграй-ка что-нибудь печальное.

Подняв плечи и широко расставив пальцы, Коростелев брал несколько аккордов и начинал петь тенором «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», а Дымов еще раз вздыхал, подпирал голову кулаком и задумывался.

В последнее время Ольга Ивановна вела себя крайне неосторожно. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении и с мыслью, что она Рябовского уже не любит и что, слава богу, все уже кончено. Но, напившись кофе, она соображала, что Рябовский отнял у нее мужа и что теперь она осталась без мужа и без Рябовского; потом она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное, смесь пейзажа с жанром, во вкусе Поленова, отчего все, кто бывает в его мастерской, приходят в восторг; но ведь это, думала она, он создал под ее влиянием, и вообще благодаря ее влиянию он сильно изменился к лучшему. Влияние ее так благотворно и существенно, что если она оставит его, то он, пожалуй, может погибнуть. И вспоминала она также, что в последний раз он приходил к ней в каком-то сером сюртучке с искрами и в новом галстуке и спрашивал томно: «Я красив?» И в самом деле, он, изящный, со своими длинными кудрями и с голубыми глазами, был очень красив (или, быть может, так показалось) и был ласков с ней.

Вспомнив про многое и сообразив, Ольга Ивановна одевалась и в сильном волнении ехала в мастерскую к Рябовскому. Она заставляла его веселым и восхищенным своею в самом деле великолепную картину; он прыгал, дурачился и на серьезные вопросы отвечал шутками. Ольга Ивановна ревновала Рябовского к картине и ненавидела ее, но из вежливости простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо:

— Да, ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно.

Потом она начинала умолять его, чтобы он любил ее, не бросал, чтобы пожалел ее, бедную и несчастную. Она плакала, целовала ему руки, требовала, чтобы он клялся ей в любви, доказывала ему, что без ее хорошего влияния он собьется с пути и погибнет. И, испортив ему хорошее настроение духа и чувствуя себя униженной, она

уезжала к портнихе или к знакомой актрисе похлопотать насчет билета.

Если она не заставляла его в мастерской, то оставляла ему письмо, в котором клялась, что если он сегодня не придет к ней, то она непременно отравится. Он трусил, приходил к ней и оставался обедать. Не стесняясь присутствием мужа, он говорил ей дерзости, она отвечала ему тем же. Оба чувствовали, что они связывают друг друга, что они деспоты и враги, и злились, и от злости не замечали, что оба они неприличны и что даже стриженный Коростелев понимает все. После обеда Рябовский спешил проститься и уйти.

— Куда вы идете? — спрашивала его Ольга Иванова в передней, глядя на него с ненавистью.

Он, морщась и щуря глаза, называл какую-нибудь даму, общую знакомую, и было видно, что это он смеется над ее ревностью и хочет досадить ей. Она шла к себе в спальню и ложилась в постель; от ревности, досады, чувства унижения и стыда она кусала подушку и начинала громко рыдать. Дымов оставлял Коростелева в гостиной, шел в спальню и, сконфуженный, растерянный, говорил тихо:

— Не плачь громко, мама... Зачем? Надо молчать об этом.... Надо не подавать вида... Знаешь, что случилось, того уже не поправишь.

Не зная, как усмирить в себе тяжелую ревность, от которой даже в висках ломило, и думая, что еще можно поправить дело, она умывалась, пудрила заплаканное лицо и летела к знакомой даме. Не застав у нее Рябовского, она ехала к другой, потом к третьей... Сначала ей было стыдно так ездить, но потом она привыкла, и случалось, что в один вечер она объезжала всех знакомых женщин, чтобы отыскать Рябовского, и все понимали это.

Однажды она сказала Рябовскому про мужа:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Эта фраза ей так понравилась, что, встречаясь с художниками, которые знали об ее романе с Рябовским, она всякий раз говорила про мужа, делая энергический жест рукой:

— Этот человек гнетет меня своим великодушием!

Порядок жизни был такой же, как в прошлом году. По средам бывали вечеринки. Артист читал, художники

рисовали, виолончелист играл, певец пел, и неизменно в половине двенадцатого открывалась дверь, ведущая в столовую, и Дымов, улыбаясь, говорил:

— Пожалуйте, господа, закусить.

По-прежнему Ольга Ивановна искала великих людей, находила и не удовлетворялась и опять искала. По-прежнему она каждый день возвращалась поздно ночью, но Дымов уже не спал, как в прошлом году, а сидел у себя в кабинете и что-то работал. Ложился он часа в три, а вставал в восемь.

Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и в белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло.

— Я сейчас диссертацию защищал, — сказал он, сядя и поглаживая колена.

— Защитил? — спросила Ольга Ивановна.

— Ого! — засмеялся он и вытянул шею, чтобы увидеть в зеркале лицо жены, которая продолжала стоять к нему спиной и поправлять прическу. — Ого! — повторил он. — Знаешь, очень возможно, что мне предложат приват-доцентуру по общей патологии. Этим пахнет.

Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее и будущее, и все бы забыл, но она не понимала, что значит приват-доцентура и общая патология, к тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала.

Он посидел две минуты, виновато улыбнулся и вышел.

VII

Это был беспокойнейший день.

У Дымова сильно болела голова; он утром не пил чаю, не пошел в больницу и все время лежал у себя в кабинете на турецком диване. Ольга Ивановна, по обыкновению, в первом часу отправилась к Рябовскому, чтобы показать ему свой этюд *nature morte* и спросить его, почему он вчера не приходил. Этюд казался ей ничтожным, и написала она его только затем, чтобы иметь лишний предлог сходить к художнику.

Она вошла к нему без звонка, и когда в передней снимала калоши, ей послышалось, как будто в мастер-

ской что-то тихо пробежало, по-женски шурша платьем, и когда она поспешила заглянуть в мастерскую, то увидела только кусок коричневой юбки, который мелькнул на мгновение и исчез за большою картиной, занавешенной вместе с мольбертом до пола черным коленкором. Сомневаться нельзя было, это пряталась женщина. Как часто сама Ольга Ивановна находила себе убежище за этой картиной! Рябовский, по-видимому очень смущенный, как бы удивился ее приходу, протянул к ней обе руки и сказал, натянуто улыбаясь:

— А-а-а-а! Очень рад вас видеть. Что скажете хорошенького!

Глаза у Ольги Ивановны наполнились слезами. Ей было стыдно, горько, и она за миллион не согласилась бы говорить в присутствии посторонней женщины, соперницы, лгуньи, которая стояла теперь за картиной и, вероятно, злорадно хихикала.

— Я принесла вам этюд... — сказала она робко, тонким голосом, и губы ее задрожали, — *nature morte*.

— А-а-а... этюд?

Художник взял в руки этюд и, рассматривая его, как бы машинально прошел в другую комнату.

Ольга Ивановна покорно шла за ним.

— *Nature morte*... первый сорт, — бормотал он, подбирая рифму, — курорт... черт... порт...

Из мастерской послышались торопливые шаги и шуршанье платья. Значит, она ушла. Ольге Ивановне хотелось громко крикнуть, ударить художника по голове чем-нибудь тяжелым и уйти, но она ничего не видела сквозь слезы, была подавлена своим стыдом и чувствовала себя уже не Ольгой Ивановной и не художницей, а маленькою козявкой.

— Я устал... — томно проговорил художник, глядя на этюд и встряхивая головой, чтобы побороть дремоту. — Это мило, конечно, но и сегодня этюд, и в прошлом году этюд, и через месяц будет этюд... Как вам не наскучит? Я бы на вашем месте бросил живопись и занялся серьезно музыкой или чем-нибудь. Ведь вы не художница, а музыкантша. Однако, знаете, как я устал! Я сейчас скажу, чтоб дали чаю... А?

Он вышел из комнаты, и Ольга Ивановна слышала, как он что-то приказывал своему лакею. Чтоб не прощаться, не объясняться, а главное, не зарыдать, она,

пока не вернулся Рябовский, поскорее побежала в переднюю, надела калоши и вышла на улицу. Тут она легко вздохнула и почувствовала себя навсегда свободной и от Рябовского, и от живописи, и от тяжелого стыда, который так давил ее в мастерской. Все кончено!

Она поехала к портнихе, потом к Барнаю, который только вчера приехал, от Барная — в нотный магазин, и все время она думала о том, как она напишет Рябовскому холодное, жесткое, полное собственного достоинства письмо и как весной или летом она поедет с Дымовым в Крым, освободится там окончательно от прошлого и начнет новую жизнь.

Вернувшись домой поздно вечером, она, не переодеваясь, села в гостиной сочинять письмо. Рябовский сказал ей, что она не художница, и она в отместку напишет ему теперь, что он каждый год пишет все одно и то же и каждый день говорит одно и то же, что он застыл и что из него не выйдет ничего, кроме того, что уже вышло. Ей хотелось написать также, что он многим обязан ее хорошему влиянию, а если он поступает дурно, то это только потому, что ее влияние парализуется разными двусмысленными особами, вроде той, которая сегодня пряталась за картину.

— Мама! — позвал из кабинета Дымов, не отворяя двери. — Мама!

— Что тебе?

— Мама, ты не входи ко мне, а только подойди к двери. — Вот что... Третьего дня я заразился в больнице дифтеритом, и теперь... мне нехорошо. Пошли поскорее за Коростелевым.

Ольга Ивановна всегда звала мужа, как всех знакомых мужчин, не по имени, а по фамилии; его имя Осип не нравилось ей, потому что напоминало гоголевского Осипа и каламбур: «Осип охрип, а Архип осип». Теперь же она вскрикнула:

— Осип, это не может быть!

— Пошли! Мне нехорошо... — сказал за дверью Дымов, и слышно было, как он подошел к дивану и лег. — Пошли, — глухо послышался его голос.

«Что же это такое? — подумала Ольга Ивановна, холодея от ужаса. — Ведь это опасно!»

Без всякой надобности она взяла свечу и пошла к себе в спальню и тут, соображая, что ей нужно делать,

нечаянно поглядела на себя в трюмо. С бледным, испуганным лицом, в жакете с высокими рукавами, с желтыми волнами на груди и с необыкновенным направлением полос на юбке она показалась себе страшной и гадкой. Ей вдруг стало до боли жаль Дымова, его безграничной любви к ней, его молодой жизни и даже этой его осиротелой постели, на которой он давно уже не спал, и вспоминалась ей его обычная, кроткая, покорная улыбка. Она горько заплакала и написала Коростелеву умоляющее письмо. Было два часа ночи.

VIII

Когда в восьмом часу утра Ольга Ивановна, с тяжелой от бессонницы головой, непричесанная, некрасивая и с виноватым выражением вышла из спальни, мимо нее прошел в переднюю какой-то господин с черною бородой, по-видимому доктор. Пахло лекарствами. Около двери в кабинет стоял Коростелев и правую рукою крутил левый ус.

— К нему, извините, я вас не пушу, — угрюмо сказал он Ольге Ивановне. — Заразиться можно. Да и не к чему вам, в сущности. Он все равно в бреду.

— У него настоящий дифтерит? — спросила шепотом Ольга Ивановна.

— Тех, кто на рожон лезет, по-настоящему, под суд отдавать надо, — пробормотал Коростелев, не отвечая на вопрос Ольги Ивановны. — Знаете, отчего он заразился? Во вторник у мальчика высасывал через трубочку дифтеритные пленки. А к чему? Глупо... Так, сдуру...

— Опасно? Очень? — спросила Ольга Ивановна.

— Да, говорят, что форма тяжелая. Надо бы за Шреком послать, в сущности.

Приходил маленький, рыженький, с длинным носом и с еврейским акцентом, потом высокий, сутулый, лохматый, похожий на протодьякона; потом молодой, очень полный, с красным лицом и в очках. Это врачи приходили дежурить около своего товарища. Коростелев, отдежурив свое время, не уходил домой, а оставался и, как тень, бродил по всем комнатам. Горничная подавала дежурившим докторам чай и часто бегала в аптеку, и некому было убрать комнат. Было тихо и уныло.

Ольга Ивановна сидела у себя в спальне и думала о том, что это бог ее наказывает за то, что она обма-

нывала мужа. Молчаливое, безропотное, непонятное существо, обезличенное своею кротостью, бесхарактерное, слабое от излишней доброты, глухо страдало где-то там у себя на диване и не жаловалось. А если бы оно пожаловалось, хотя бы в бреду, то дежурные доктора узнали бы, что виноват тут не один только дифтерит. Спросили бы они Коростелева: он знает все и недаром на жену своего друга смотрит такими глазами, как будто она-то и есть самая главная, настоящая злодейка, а дифтерит только ее сообщник. Она уже не помнила ни лунного вечера на Волге, ни объяснений в любви, ни поэтической жизни в избе, а помнила только, что она из пустой прихоти, из баловства, вся, с руками и с ногами, вымазалась во что-то грязное, липкое, от чего никогда уж не отмоешься...

«Ах, как я страшно солгала! — думала она, вспоминая о беспокойной любви, какая у нее была с Рябовским. — Будь оно все проклято!..»

В четыре часа она обедала вместе с Коростелевым. Он ничего не ел, пил только красное вино и хмурился. Она тоже ничего не ела. То она мысленно молилась и давала обет богу, что если Дымов выздоровеет, то она полюбит его опять и будет верною женой. То, забывшись на минуту, она смотрела на Коростелева и думала: «Неужели не скучно быть простым, ничем не замечательным, неизвестным человеком, да еще с таким помятым лицом и с дурными манерами?» То ей казалось, что ее сию минуту убьет бог за то, что она, боясь заразиться, не разу еще не была в кабинете у мужа. А в общем было тупое унылое чувство и уверенность, что жизнь уже испорчена и что ничем ее не исправишь...

После обеда наступили потемки. Когда Ольга Ивановна вышла в гостиную, Коростелев спал на кушетке, подложив под голову шелковую подушку, шитую золотом. «Кхи-пуа... — храпел он, — кхи-пуа».

И доктора, приходившие дежурить и уходившие, не замечали этого беспорядка. То, что чужой человек спал в гостиной и храпел, и этюды на стенах, причудливая обстановка, и то, что хозяйка была непричесана и не-ряшливо одета, — все это не возбуждало теперь ни малейшего интереса. Один из докторов нечаянно чему-то засмеялся, и как-то странно и робко прозвучал этот смех, даже жутко сделалось.

Когда Ольга Ивановна в другой раз вышла в гостиную, Коростелев уже не спал, а сидел и курил.

— У него дифтерит носовой полости, — сказал он вполголоса. — Уже и сердце неважно работает. В сущности, плохи дела.

— А вы пошлите за Шреком, — сказала Ольга Ивановна.

— Был уже. Он-то и заметил, что дифтерит перешел в нос. Э, да что Шрек! В сущности, ничего Шрек. Он Шрек, я Коростелев — и больше ничего.

Время тянулось ужасно долго. Ольга Ивановна лежала одетая в не убранной с утра постели и дремала. Ей чудилось, что вся квартира от полу до потолка занята громадным куском железа и что стоит только вынести вон железо, как всем станет весело и легко. Очнувшись, она вспомнила, что это не железо, а болезнь Дымова.

«Nature morte, порт... — думала она, опять впадая в забытье, — спорт... курорт... А как Шрек? Шрек, грек, грек... крек. А где-то теперь мои друзья? Знают ли они, что у нас горе? Господи, спаси... избави! Шрек, грек...»

И опять железо... Время тянулось длинно, а часы в нижнем этаже били часто. И то и дело слышались звонки; приходили доктора... Вошла горничная с пустым стаканом на подносе и спросила:

— Барыня, постель прикажете постлать?

И, не получив ответа, вышла. Пробили внизу часы, приснился дождь на Волге, и опять кто-то вошел в спальню, кажется, посторонний. Ольга Ивановна вскочила и узнала Коростелева.

— Который час? — спросила она.

— Около трех.

— Ну что?

— Да что! Я пришел сказать: кончается...

Он всхлипнул, сел на кровать рядом с ней и вытер слезы рукавом. Она сразу не поняла, но вся похолодела и стала медленно креститься.

— Кончается... — повторил он тонким голоском и опять всхлипнул. — Умирает, потому что пожертвовал собой... Какая потеря для науки! — сказал он с горечью. — Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды он подавал нам всем! — продолжал Коростелев.

ломаю руки. — Господи боже мой, это был бы такой ученый, какого теперь с огнем не найдешь. Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, боже мой!

Коростелев в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.

— А какая нравственная сила! — продолжал он, все больше и больше озлобляясь на кого-то. — Добрая, чистая, любящая душа — не человек, а стекло! Служил науке и умер от науки. А работал, как вол, день и ночь, никто его не щадил, и молодой ученый, будущий профессор, должен был искать себе практику и по ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти... подлые тряпки!

Коростелев поглядел с ненавистью на Ольгу Ивановну, схватился за простыню обеими руками и сердито рванул, как будто она была виновата.

— И сам себя не щадил, и его не щадили. Э, да что, в сущности!

— Да, редкий человек! — сказал кто-то басом в гостиной.

Ольга Ивановна вспомнила всю свою жизнь с ним, от начала до конца, со всеми подробностями, и вдруг поняла, что это был в самом деле необыкновенный редкий и, в сравнении с теми, кого она знала, великий человек. И, вспомнив, как к нему относились ее покойный отец и все товарищи-врачи, она поняла, что все они видели в нем будущую знаменитость. Стены, потолок, лампа и ковер на полу замигали ей насмешливо, как бы желая сказать! «Прозевала! прозевала!» Она с плачем бросилась из спальни, шмыгнула в гостиной мимо какого-то незнакомого человека и вбежала в кабинет к мужу. Он лежал неподвижно на турецком диване, покрытый до пояса одеялом. Лицо его страшно осунулось, похудело и имело серовато-желтый цвет, какого никогда не бывает у живых; и только по лбу, по черным бровям да по знакомой улыбке можно было узнать, что это Дымов. Ольга Ивановна быстро ощупала его грудь, лоб и руки. Грудь еще была тепла, но лоб и руки были неприятно холодны. И полуоткрытые глаза смотрели не на Ольгу Ивановну, а на одеяло.

— Дымов! — позвала она громко, — Дымов!

Она хотела объяснить ему, что то была ошибка, что не все еще потеряно, что жизнь еще может быть пре-

красной и счастливой, что он редкий, необыкновенный, великий человек и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх...

— Дымов! — звала она его, трепля его за плечо и не веря тому, что он уже никогда не проснется. — Дымов, Дымов же!

А в гостиной Коростелев говорил горничной:

— Да что тут спрашивать? Вы ступайте в церковную сторожку и спросите, где живут богаделки. Они и обмоют тело и уберут — все сделают, что нужно.

В ССЫЛКЕ

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

— Оно, конечно, тут не рай, — говорил Толковый. — Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет и утром нынче снег был.

— Худо! худо! — сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная холодная река: она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют «карбасом». Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как

дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

— Худо! худо! — повторил он.

— Привыкнешь! — сказал Толковый и засмеялся. — Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

— У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

— А на что тебе мать и жена? — спросил Толковый. — Одна глупость, брат. Это тебя бес смущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

— Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями

что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников — кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. «Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец». Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег!» Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса, — он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени, и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. «Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая». А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке, на руках младенчик-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. «Да, брат Семен, и в Сибири люди живут!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай каждую неделю, стал он в Гырино наведываться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. «Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие...» Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и

фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване, — чтоб она издохла... Роскошь, одним словом баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец — не та честь. Года через три, помню, ночью под самый ус-пеньев день кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу — барыня, вся укутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели — и поминай как звали! Только их и видели! А под утро Василий Сергеич скачет на паре. «Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках?» Проезжала, говорю, — ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: «И в Сибири люди живут!» А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от любовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. «Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь». Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: «Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь?» И стала,

брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж, по моему, лучше пропить эти деньги... Все равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит — дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

— Хорошо, хорошо, — пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

— Что хорошо? — спросил Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила с ним три года — это ему бог подарил... Ничего — худо, а три года — хорошо. Как не понимай?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Сим-

бирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затынул вполголоса песню.

— Что ей за радость с отцом-то? — проговорил он немного погодя. — Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка, да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! — вздохнул Семен и тяжело поднялся. — Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

— Если нет чего-чего кушать, то как живи? — спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда все тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но все же можно хоть костер развести...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая, — неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало, ясно обозначились баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться — там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи.

Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни — быть может, все-

го этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится, думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп... Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

— Подава-ай! — кричал кто-то на той стороне.— Кар-ба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взяли за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

— Ладно, успеешь! — проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить, — все равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже слышали стук и мерное плесканье весел и кричали: «Скорей! скорей!» Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

— И все оно сыпет, и все оно сыпет! — бормотал

Семен, вытирая с лица снег. — И откуда оно берется, бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

— Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

— И в Сибири люди живут. Живут-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

— Грязно теперь ехать, Василий Сергеич, — сказал он, когда на берегу запрягали лошадей. — Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами извольте знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а все никакого толку. Право!

Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

— Вот, за доктором поскакал! — сказал Семен, пожимаясь от холода. — Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост, язви твою душу! Экие чудачки, господа, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

— Он хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб

живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебе ничего... Ты камень — и бог тебя не любит, а барина любит.

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку.

— Холодно! — прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.

— Да, не тепло! — согласился другой. — Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

— А мне хорошо! — проговорил Семен, засыпая. — Дай бог всякому такой жизни.

— Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора слышались звуки, похожие на собачий бой.

— Что это? Кто это там?

— Это татарин плачет.

— Ишь ты... Чудак!

— Привы-ыкнет! — сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась незатворенной.

ПАЛАТА № 6

I

В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним — глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращенные остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек.

Если вы не боитесь ожечья о крапиву, то пойдите по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сени. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная, истасканная обувь — вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниет и издает душливый запах.

На хламе всегда с трубкой с зубах лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое, испитое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки, и красный нос; он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, кото-

рые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по чем попало и уверен, что без этого не было бы здесь порядка.

Далее вы входите в большую, просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать сеней. Стены здесь вымазаны грязно-голубою краской, потолок закопчен, как в курной избе, — ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислую капустой, фитильною гарью, клопами и аммиаком, и эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы входите в зверинец.

В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и, по-старинному, в колпаках. Это — сумасшедшие.

Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первый от двери, высокий худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит, подперев голову, и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь; в разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, быющему кашлю, худобе и румянцу на щеках, у него начинается чахотка.

За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острою бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра, волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав потурецки ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер проявляет он и ночью, когда встает затем, чтобы помолиться богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Мойсейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская.

Из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволено выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется ~~издавна веронто~~ как больничный старожил и как тихий безвредный дурачок, городского шута, которого давно уже привыкли видеть на улице, окруженным мальчиш-

ками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом — хлеба, в третьем — копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем, выворачивая карманы и призывая бога в свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете.

Мойсейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и сшить по новой шапке; он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны, паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову.

Иван Дмитрич Громов, мужчина лет тридцати трех, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для моциона, сидит же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться: не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение.

Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Grimасы его странны и болезненны, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах теплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать — желает им покойной ночи.

Кроме постоянно напряженного состояния и гримасничанья, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет верх над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывиста и не всегда понятна, но зато в ней слышится, и в словах и в голосе, что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников. Получается беспорядочное, несладкое поурри из старых, но еще не допетых песен.

II

Лет двенадцать — пятнадцать тому назад в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов, человек солидный и зажиточный. У него было два сына: Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечною чахоткой и умер, и эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа. Дом и вся движимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств.

Прежде, при отце, Иван Дмитрич, проживая в Петербурге, где он учился в университете, получал шестьдесят — семьдесят рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде, теперь же ему пришлось резко изме-

нить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать грошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич; он пал духом, захирел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя в уездном училище, но не сошелся с товарищами, не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без места, питаясь только хлебом и водой, затем поступил в судебные приставы. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезни.

Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатления здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходил и друзей не имел. О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором, громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем, бывало, ни заговоришь с ним, он все сводит к одному: в городе душно и скучно жить, у общества нет высших интересов, оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразя ее насилием, грубым развратом и лицемерием; подлецы сыты и одеты, а честные питаются крохами; нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил; нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось. В своих суждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков; человечество делилось у него на честных и подлецов; середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен.

В городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли Ваней. Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртук, болезненный вид и семейные несчастья внушали

хорошее, теплое и грустное чувство; к тому же он был хорошо образован и начитан, знал, по мнению горожан, все и был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря.

Читал он очень много. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги; и по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одною из его болезненных привычек, так как он с одинаковою жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа.

III

Однажды осенним утром, подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи, по переулкам и задворкам, пробирался Иван Дмитрич к какому-то мещанину, чтобы получить по исполнительному листу. Настроение у него было мрачное, как всегда по утрам. В одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и с ними четыре конвойных с ружьями. Раньше Иван Дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувства сострадания и неловкости, теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом вести по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов, и почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет; но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно, и разве не возможна клевета, наконец судебная ошибка? Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы да тюрьмы не зарекаться.

А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудреного. Люди, имеющие служебное, деловое отношение к чужому страданию, например судьи, полицейские, врачи, с течением времени, в силу привычки, закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально; с этой стороны они ничем не отличаются от мужика, который на задворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же, бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояния и присудить к каторге, судье нужно только одно: время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платят жалованье, а затем — все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком, грязном городишке, за двести верст от железной дороги! Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом, как разумная и целесообразная необходимость, и всякий акт милосердия, например, оправдательный приговор, вызывает целый взрыв неудовлетворенного, мстительного чувства?

Утром Иван Дмитрич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу, совсем уже уверенный, что его могут арестовать каждую минуту. Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, думал он, то, значит, в них есть доля правды. Не могли же они, в самом деле, прийти в голову безо всякого повода.

Городовой не спеша прошел мимо окон: это недаром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат?

И для Ивана Дмитрича наступили мучительные дни и ночи. Все проходившие мимо окон и входившие во двор казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице; это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление, но Ивану Дмитричу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением: очевидно, спешит объявить, что в городе появился очень важный преступник. Иван Дмитрич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота, томился, когда встречал у хозяйки нового человека; при встрече с полицейскими и жандармами улыбался и

насвистывал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит; ведь если не спит, то, значит, его мучают угрызения совести — какая улика! Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи — вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного — была бы совесть спокойна; но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительнее становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустынный хотел вырубить себе местечко в девственном лесу; чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитрич в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался отчаянию и страху.

Он стал уединяться и избегать людей. Служба и раньше была ему противна, теперь же она стала для него невыносима. Он боялся, что его как-нибудь подведут, положат ему незаметно в карман взятку и потом уличат, или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку, равносильную подлогу или потеряет чужие деньги. Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибка и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячи разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности к книгам, и стала сильно изменять память.

Весной, когда сошел снег, в овраге около кладбища нашли два полусгнившие трупа — старухи и мальчика, с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитрич, чтобы не подумали, что это он убил, ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлее преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и, после некоторого размышления, он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день, сильно озяб и, дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он

среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца к хозяйке пришли печники. Иван Дмитрич хорошо знал, что они пришли затем, чтобы переключивать в кухне печь, но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры и, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним с лаем гнались собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух, и Ивану Дмитричу казалось, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним.

Его задержали, привели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимыч, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневые капли, грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных и скоро, по распоряжению Андрея Ефимыча, был переведен в палату № 6.

Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сани под навесом, были растасканы мальчишками.

IV

Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жид Мойсейка, сосед же с правой — оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это — неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый удушливый смрад.

Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков; и страшно тут не то, что его бьют, — к этому можно привыкнуть, — а то, что это отупевшее животное не отвечает на лобни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжелая бочка.

Пятый и последний обитатель палаты № 6 — мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, ма-

ленький худощавый блондин с добрым, но несколько лукавым лицом. Судя по умным, покойным глазам, смотрящим ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрацем что-то такое, чего он никому не показывает, но не из страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову; если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди. Но тайну его угадать нетрудно.

— Поздравьте меня,— говорит он часто Ивану Дмитричу,— я представлен к Станиславу второй степени со звездой. Вторую степень со звездой дают только иностранцам, но для меня почему-то хотят сделать исключение,— улыбается он, в недоумении пожимая плечами.— Вот уж, признаться, не ожидал!

— Я в этом ничего не понимаю,— угрюмо заявляет Иван Дмитрич.

— Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь?— продолжает бывший сортировщик, лукаво щуря глаза.— Я непременно получу шведскую «Полярную звезду». Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво.

Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле. Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика, умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов; после этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит все об одних и тех же орденах.

Свежих людей редко видят в палате № 6. Новых помешанных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в два месяца бывает во флигеле Семен Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем.

Кроме цирюльника, никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо дня в день одного только Никиту.

Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух.

Распустили слух, что палату № 6 будто бы стал посещать доктор.

V

Странный слух!

Доктор Андрей Ефимыч Рагин — замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере и что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию, но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно — не знаю, но сам Андрей Ефимыч не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам.

Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он в священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь.

Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая: своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким, неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге, разъевшегося, невоздержного и крутого. Лицо суровое, покрыто синими жилками, глаза маленькие, нос красный. При высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги; кажется, хватит кулаком — дух вон. Но поступь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая; при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается, чтобы дать дорогу, и не басом, как ждешь, а тонким, мягким тенорком говорит: «Виноват!» У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички, и потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторски. Одну и ту же пару он таскает лет по десяти, а новая одежда, которую он обыкновенно покупает в жи-

довской лавке, кажется на нем такую же поношенную и помятую, как старая; в одном и том же сюртуке он и больных принимает, и обедает, и в гости ходит; но это не из скупости, а от полного невнимания к своей наружности.

Когда Андрей Ефимыч приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатках, коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно; одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице; не рябчиками же их кормить! Другие же в оправдание говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу; слава богу, что хоть плохая, да есть. А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле, ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу.

Осмотрев больницу, Андрей Ефимыч пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это — выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его воли и что это было бы бесполезно; если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое; надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то, значит, она им нужна; предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатыва-

ются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости.

Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами; смотритель же, кастелянша, фельдшер и хирургическая рожка остались на своих местах.

Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голос и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно; когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке: «Как бы мне чаю...», или: «Как бы мне пообедать». Сказать же смотрителю, чтоб он перестал красть, или прогнать его, или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность,— для него совершенно не под силу. Когда обманывают Андрея Ефимыча или льстят ему, или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет как рак и чувствует себя виноватым, но счет все-таки подписывает; когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет:

— Хорошо, хорошо, я разберу после... Вероятно, тут недоразумение...

В первое время Андрей Ефимыч работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские. Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью. Сегодня примешь тридцать больных, а завтра, глядишь, привалило их тридцать пять, послезавтра сорок, и так изо дня в день, из года в год, а смертность в городе не уменьшается, и больные не перестают ходить. Оказать серьезную помощь сорока приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности, значит, поневоле выходит один обман. Принято в отчетном году двенад-

цать тысяч приходящих больных, значит, попросту рассуждая, обмануто двенадцать тысяч человек. Клясть же серьезных больных в палаты и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя, потому что правила есть, а науки нет; если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты, и хорошие помощники, а не воры.

Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних пять, десять лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения, бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе; почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрене Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амебы, если бы не страдания?

Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.

VI

Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов в восемь, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки, проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимыч знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных

больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь? В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеич, маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу, в приемной, стоит большой образ в киоте, с тяжелою лампадой, возле — ставник в белом чехле; на стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением; по воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных, по его приказанию, читает вслух акафист, а после чтения сам Сергей Сергеич обходит все палаты с камильницей и кадит в них ладаном.

Больных много, а времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимыч сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается.

— Болеем и нужду терпим оттого, — говорит он, — что господу милосердному плохо молимся. Да!

Во время приемки Андрей Ефимыч не делает никаких операций; он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка.

На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более двадцати лет. И он уходит, приняв пять-шесть больных. Остальных без него принимает фельдшер.

С приятною мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет и что ему никто не помешает, Андрей Ефимыч, придя домой, немедленно са-

дится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалованья уходит у него на покупку книг, и из шести комнат его квартиры три завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии; по медицине же выписывает одного только «Врача», которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по несколько часов и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитрич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой и лежит соленый огурец или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает, потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек.

В три часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:

— Дарьюшка, как бы мне пообедать...

После обеда, довольно плохого и непонятного, Андрей Ефимыч ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет четыре часа, потом пять, а он все ходит и думает. Изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное, заспанное лицо Дарьюшки.

— Андрей Ефимыч, вам не пора пиво пить? — спрашивает она озабоченно.

— Нет, еще не время... — отвечает он. — Я погожу... погожу...

К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер, Михаил Аверьяныч, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимыча не тягостно. Михаил Аверьяныч когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый, здоровый вид, роскошные седые бакены, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит

громовым голосом: «Замолчать!», так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимыча за образованность и благородство души, к прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.

— А вот и я! — говорит он, входя к Андрею Ефимычу. — Здравствуйте, мой дорогой! Небось я уже надоел вам, а?

— Напротив, очень рад, — отвечает ему доктор. — Я всегда рад вам.

Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.

— Дарьюшка, как бы нам пива! — говорит Андрей Ефимыч.

Первую бутылку выпивают тоже молча: доктор — задумавшись, а Михаил Аверьяныч — с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинается доктор.

— Как жаль, — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику (он никогда не смотрит в глаза), — как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьяныч, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью; уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия.

— Совершенно верно. Согласен.

— Вы сами изволите знать, — продолжает доктор тихо и с расстановкой, — что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума, — значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги — это ноты, а беседа — пение.

— Совершенно верно.

Наступает молчание. Из кухни выходит Дарьюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.

— Эх! — вздыхает Михаил Аверьяныч. — Захотели от нынешних ума!

И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело и интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятия о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу. А какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины! А Кавказ — какой удивительный край! А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.

— Царица небесная, матушка... — вздыхает Дарьюшка.

— А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!

Андрей Ефимыч слушает и не слышит; он о чем-то думает и прихлебывает пиво.

— Мне часто снятся умные люди и беседы с ними, — говорит он неожиданно, перебивая Михаила Аверьяныча. — Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей шестидесятых годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если б я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и преходящ, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят или же говорят нелепости; он стучится — ему не отворяют; к нему приходит смерть — тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе, так и в жизни не за-

мечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.

— Совершенно верно.

Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимыч продолжает говорить об умных людях и беседах с ними, а Михаил Аверьяныч внимательно слушает его и соглашается: «Совершенно верно».

— А вы не верите в бессмертие души?— вдруг спрашивает почтмейстер.

— Нет, уважаемый Михаил Аверьяныч, не верю и не имею основания верить.

— Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру. Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора! А в душе какой-то голосочек: не верь, не умрешь!..

В начале десятого часа Михаил Аверьяныч уходит. Надевая в передней шубу, он говорит со вздохом:

— Однако в какую глушь занесла нас судьба! Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!..

VII

Проводив приятеля, Андрей Ефимыч садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое, мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. О, зачем человек не бессмертен?— думает он.— Зачем мозговые центры и извилины, зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладеть вместе с земной корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца? Для того чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человечка с его высоким, почти божеским, умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину.

Обмен веществ! Но какая трусость утешает себя этим суррогатом бессмертия! Бессознательные процес-

сы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинства, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе... Видеть свое бесмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодною дорогая скрипка.

Когда бьют часы, Андрей Ефимыч откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошлое и настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. А в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденною землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой, в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте; быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туги положенной повязки; быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто двенадцать тысяч человек; все больничное дело, как и двадцать лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате № 6 за решетками Никита колотит больных и что Мойсейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню.

С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние двадцать пять лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики, теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможным даже *in spe*¹. Обыкновенные земские врачи

¹ в будущем (лат.).

решаются производить резекцию коленного сустава, на сто чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытия Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина? Психиатрия с ее теперешнею классификацией болезней, методами распознавания и лечения — это в сравнении с тем, что было, целый Эльбрус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубаш; их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимыч знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата № 6, возможна разве только в двухстах верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные — полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово; в другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватили в клочья эту маленькую Бастилию.

«Но что же? — спрашивает себя Андрей Ефимыч, открывая глаза. — Что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер, а сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разницы между лучшею венскою клиником и моею больницей, в сущности, нет никакой».

Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешают ему быть равнодушным. Это, должно быть, от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает:

«Я служу вредному делу и получаю жалованье от людей, которых обманываю; я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла: все уездные чиновники вредны и даром получают жалованье... Значит, в своей нечестности виноват не я, а время... Родись я двумястами лет позже, я был бы другим».

Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.

VIII

Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать триста рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы, и на помощь Андрею Ефимычу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорыч Хоботов. Это еще очень молодой человек — ему нет и тридцати, — высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками; вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивою женщиной, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорыч в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты венской клиники за 1881 г.». Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как канитель, мантифолья с уксусом, будет тебе тень наводить и т. п.

В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. Совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимыча. Своего коллегу Андрея Ефимыча он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.

IX

В один из весенних вечеров, в конце марта, когда уже на земле не было снега и в больничном саду пели скворцы, доктор вышел проводить до ворот своего приятеля почтмейстера. Как раз в это время во двор входил жид Мойсейка, возвращавшийся с добычи. Он был без шапки и в мелких калошах на босую ногу и в руках держал небольшой мешочек с милостыней.

— Дай копеечку! — обратился он к доктору, дрожа от холода и улыбаясь.

Андрей Ефимыч, который никогда не умел отказывать, подал ему гривенник.

«Как это нехорошо,— подумал он, глядя на его босые ноги с красными тощими щиколками.— Ведь мокро».

И, побуждаемый чувством, похожим на жалость и на брезгливость, он пошел во флигель вслед за евреем, поглядывая то на его лысину, то на щиколки. При входе доктора с кучи хлама вскочил Никита и вытянулся.

— Здравствуй, Никита,— сказал мягко Андрей Ефимыч.— Как бы этому еврею выдать сапоги, что ли, а то простудится.

— Слушаю, ваше высокоблагородие. Я доложу смотрителю.

— Пожалуйста. Ты попроси его от моего имени. Скажи, что я просил.

Дверь из сеней в палату была отворена. Иван Дмитрич, лежа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он весь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами навывкате, выбежал на середину палаты.

— Доктор пришел! — крикнул он и захохотал.— Наконец-то! Господа, поздравляю, доктор удостоивает нас своим визитом! Проклятая гадина! — взвизгнул он и в исступлении, какого никогда еще не видели в палате, топнул ногой.— Убить эту гадину! Нет, мало убить! Утопить в отхожем месте!

Андрей Ефимыч, слышавший это, выглянул из сеней в палату и спросил мягко:

— За что?

— За что?— крикнул Иван Дмитрич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в халат.— За что? Вор! — проговорил он с отвращением и деля губы так, как будто желая плюнуть.— Шарлатан! Палач!

— Успокойтесь,— сказал Андрей Ефимыч, виновато улыбаясь.— Уверю вас, я никогда ничего не крал, в остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты. Успокойтесь, прошу

вас, если можете, и скажите хладнокровно: за что вы сердиты?

— А за что вы меня здесь держите?

— За то, что вы больны.

— Да, болен. Но ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе, потому что ваше невежество не способно отличить их от здоровых. Почему же я и вот эти несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? Вы, фельдшер, смотритель и вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас, почему же мы сидим, а вы нет? Где логика?

— Нравственное отношение и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит, а кого не посадили, тот гуляет, вот и все. В том, что я доктор, а вы душевнобольной, нет ни нравственности, ни логики, а одна только пустая случайность.

— Этой ерунды я не понимаю...— глупо проговорил Иван Дмитрич и сел на свою кровать.

Мойсейка, которого Никита постеснялся обыскивать в присутствии доктора, разложил у себя на постели кусочки хлеба, бумажки и косточки и, все еще дрожа от холода, что-то быстро и певуче заговорил по-еврейски. Вероятно, он вообразил, что открыл лавочку.

— Отпустите меня,— сказал Иван Дмитрич, и голос его дрогнул.

— Не могу.

— Но почему же? Почему?

— Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам оттого, если я отпущу вас? Идите. Вас задержат горожане или полиция и вернут назад.

— Да, да, это правда...— проговорил Иван Дмитрич и потер себе лоб.— Это ужасно! Но что же мне делать? Что?

Голос Ивана Дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимычу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал:

— Вы спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении — бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно. Вас задержат. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, то оно непобедимо. Вам оста-

ется одно: успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо.

— Никому оно не нужно.

— Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы — так я, не я — так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Конечно, такое время рано или поздно настанет.

Иван Дмитрич насмешливо улыбнулся.

— Вы шутите, — сказал он, щуря глаза. — Таким господам, как вы и ваш помощник Никита, нет никакого дела до будущего, но можете быть уверены, милостивый государь, настанут лучшие времена! Пусть я выражаюсь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни, восторжествует правда, и — на нашей улице будет праздник! Я не дождусь, издохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Приветствую их от всей души и радуюсь, радуюсь за них! Вперед! Помогай вам бог, друзья!

Иван Дмитрич с блестящими глазами поднялся и, протягивая руки к окну, продолжал с волнением в голосе:

— Из-за этих решеток благословляю вас! Да здравствует правда! Радуюсь!

— Я не нахожу особенной причины радоваться, — сказал Андрей Ефимыч, которому движение Ивана Дмитрича показалось театральным и в то же время очень понравилось. — Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится, законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. Какая бы великолепная заря ни освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму.

— А бессмертие?

— Э, полноте!

— Вы не верите, ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум.

— Хорошо сказано, — проговорил Андрей Ефимыч, улыбаясь от удовольствия. — Это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи даже замуравленному в стене. Вы изволили где-нибудь получить образование?

— Да, я был в университете, но не кончил.

— Вы мыслящий и вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Свободное и глубокое мышление, которое стремится к уразумению жизни, и полное презрение к глупой суете мира — вот два блага, выше которых никогда не знал человек. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя решетками. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земных.

— Ваш Диоген был болван, — угрюмо проговорил Иван Дмитрич. — Что вы мне говорите про Диогена да про какое-то уразумение? — рассердился он вдруг и вскочил. — Я люблю жизнь, люблю страстно! У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни, и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!

Он в волнении прошелся по палате и сказал, понизив голос:

— Когда я мечтаю, меня посещают призраки. Ко мне ходят какие-то люди, я слышу голоса, музыку, и кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря, и мне так страстно хочется суеты, заботы... Скажите мне, ну что там нового? — спросил Иван Дмитрич. — Что там?

— Вы про город желаете знать или вообще?

— Ну, сначала расскажите мне про город, а потом вообще.

— Что ж? В городе томительно скучно... Не с кем слова сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач Хоботов.

— Он еще при мне приехал. Что, хам?

— Да, некультурный человек. Странно, знаете ли... Судя по всему, в наших столицах нет умственного застоя, есть движение, — значит, должны быть там и настоящие люди, но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город!

— Да, несчастный город! — вздохнул Иван Дмитрич и засмеялся. — А вообще как? Что пишут в газетах и журналах?

В палате было уже темно. Доктор поднялся и стоя начал рассказывать, что пишут за границей и в России и какое замечается теперь направление мысли. Иван Дмитрич внимательно слушал и задавал вопросы, но вдруг, точно вспомнив что-то ужасное, схватил себя за голову и лег на постель спиной к доктору.

— Что с вами? — спросил Андрей Ефимыч.

— Вы от меня не услышите больше ни одного слова! — грубо проговорил Иван Дмитрич. — Оставьте меня!

— Отчего же?

— Говорю вам: оставьте! Какого дьявола?

Андрей Ефимыч пожал плечами, вздохнул и вышел. Проходя через сени, он сказал:

— Как бы здесь убрать, Никита... Ужасно тяжелый запах!

— Слушаю, ваше высокоблагородие!

«Какой приятный молодой человек! — думал Андрей Ефимыч, идя к себе на квартиру. — За все время, пока я тут живу, это, кажется, первый, с которым можно поговорить. Он умеет рассуждать и интересуется именно тем, чем нужно».

Читая и потом ложась спать, он все время думал об Иване Дмитриче, а проснувшись на другой день утром, вспомнил, что вчера познакомился с умным и интересным человеком, и решил сходить к нему еще раз при первой возможности.

Х

Иван Дмитрич лежал в такой же позе, как вчера, обхватив голову руками и поджав ноги. Лица его не было видно.

— Здравствуйте, мой друг, — сказал Андрей Ефимыч. — Вы не спите?

— Во-первых, я вам не друг, — проговорил Иван Дмитрич в подушку, — а во-вторых, вы напрасно хлопочете: вы не добьетесь от меня ни одного слова.

— Странно... — пробормотал Андрей Ефимыч в смущении. — Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали... Вероятно, я

выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями...

— Да, так я вам и поверю! — сказал Иван Дмитрич, приподнимаясь и глядя на доктора насмешливо и с тревогой; глаза у него были красны. — Можете идти шпионить и пытаться в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили.

— Странная фантазия! — усмехнулся доктор. — Значит, вы полагаете, что я шпион?

— Да, полагаю... Шпион или доктор, к которому положили меня на испытание, — это все равно.

— Ах, какой вы, право, извините... чужак!

Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой.

— Но допустим, что вы правы, — сказал он. — Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции. Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже... Чего же бояться?

Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитрича. Он покойно сел.

Был пятый час вечера — время, когда обыкновенно Андрей Ефимыч ходит у себя по комнатам и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода.

— А я после обеда вышел прогуляться, да вот и зашел, как видите, — сказал доктор. — Совсем весна.

— Теперь какой месяц? Март? — спросил Иван Дмитрич.

— Да, конец марта.

— Грязно на дворе?

— Нет, не очень. В саду уже тропинки.

— Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город, — сказал Иван Дмитрич, потирая свои красные глаза, точно спресонок, — потом вернуться бы домой в теплый, уютный кабинет и... полечиться у порядочного доктора от головной боли... Давно уже я не жил по-человечески. А здесь гадко! Нестерпимо гадко!

После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вял и говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу видно было, что у него сильно болела голова.

— Между теплым, уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы,— сказал Андрей Ефимыч.— Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом.

— То есть как?

— Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя.

— Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?

— Да, вчера со мной.

— Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении; там и без того жарко. Лежи себе в бочке да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось скрючило бы от холода.

— Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал: «Боль есть живое представление о боли: сделай усилие воли, чтобы изменить это представление, откинь его, перестань жаловаться, и боль исчезнет». Это справедливо. Мудрец или попросту мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдание; он всегда доволен и ничему не удивляется.

— Значит, я идиот, так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости.

— Это вы напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем — истинное благо.

— Уразумение...— поморщился Иван Дмитрич.— Внешнее, внутреннее... Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, — сказал он, вставая и сердито глядя на доктора,— я знаю, что бог создал меня из теплой крови и нервов, да-с! А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую! На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение, и чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на дей-

ствительность. Как не знать этого? Доктор, а не знает таких пустяков! Чтобы презирать страдание, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до такого состояния,— и Иван Дмитрич указал на толстого, заплывшего жиром мужика,— или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. Извините, я не мудрец и не философ,— продолжал Иван Дмитрич с раздражением,— и ничего я в этом не понимаю. Я не в состоянии рассуждать.

— Напротив, вы прекрасно рассуждаете.

— Стоики, которых вы пародируете, были замечательные люди, но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не подвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно не практично и не жизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни; а презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь: ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стоиков никогда не может иметь будущности; прогрессируют же, как видите, от начала века до сегодня борьба, чуткость к боли, способность отвечать на раздражение...

Иван Дмитрич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб.

— Хотел сказать что-то важное, да сбился,— сказал он.— О чем я? Да! Так вот я и говорю: кто-то из стоиков продал себя в рабство затем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит, и стоик реагировал на раздражение, так как для такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил, а то бы еще что-нибудь вспомнил. А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем,

что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал; он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерть, а молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия.

Иван Дмитрич засмеялся и сел.

— Положим, покой и довольство человека не вне его, а в нем самом, — сказал он. — Положим, нужно презирать страдания и ничему не удивляться. Но вы-то на каком основании проповедуете это? Вы мудрец? Философ?

— Нет, я не философ, но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно.

— Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь? Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте: вас в детстве секли?

— Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям.

— А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник, с длинным носом и с желтой шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал; здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше двадцати лет вы жили на бесплатной квартире, с отоплением, с освещением, с прислугой, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, улаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и (Иван Дмитрич посмотрел на красный нос доктора) выпивахом. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически. А презираете вы страдания и ничему не удивляетесь по очень простой причине: суета сует, внешнее и внутреннее презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо — все это философия, самая подходящая для російского лежебоки. Видите вы, например, как мужик

бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно; и бьющий к тому же оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить — умирать, и не пить — умирать. Приходит баба, зубы болят... Ну, что ж? Боль есть представление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете, все померем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Молодой человек просит совета, что делать, как жить; прежде чем ответить, другой бы задумался, а тут уж готов ответ: стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое «истинное благо»? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гонят, истязуют, но это прекрасно и разумно, потому что между этою палатой и теплым, уютным кабинетом нет никакой разницы. Удобная философия: делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь... Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь... Да! — опять рассердился Иван Дмитрич. — Страдание презираете, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло!

— А может, и не заору, — сказал Андрей Ефимыч, кротко улыбаясь.

— Да, как же! А вот если бы вас трахнул паралич или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, — ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.

— Это оригинально, — сказал Андрей Ефимыч, смеясь от удовольствия и потирая руки. — Меня приятно поражает в вас склонность к обобщениям, а моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестяща. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Ну-с, я вас выслушал, теперь и вы благоволите выслушать меня...

XI

Этот разговор продолжался еще около часа и, по видимому, произвел на Андрея Ефимыча глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день. Ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя

темнота заставляла его в беседе с Иваном Дмитричем. В первое время Иван Дмитрич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь, потом же привык к нему и свое резкое обращение сменил на снисходительно-ироническое.

Скоро в больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимыч стал посещать палату № 6. Никто — ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Аверьяныч часто не заставлял его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду.

Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимычу; не застав его дома, он отправился искать его по двору; тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в сенях, Хоботов услышал такой разговор:

— Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся,— говорил Иван Дмитрич с раздражением.— С действительностью вы совершенно незнакомы, и никогда вы не страдали, а только, как пьявица, кормились около чужих страданий, я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому говорю откровенно: я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня.

— Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру,— проговорил Андрей Ефимыч тихо и с сожалением, что его не хотят понять.— И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости преходящи; оставим их, бог с ними. А дело в том, что мы с вами мыслим; мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать, и это делает нас солидарными, как бы различны ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, бездарность, тупость и с какою радостью я всякий раз беседую с вами! Вы умный человек, и я наслаждаюсь вами.

Хоботов отворил на вершок дверь и взглянул в палату; Иван Дмитрич в колпаке и доктор Андрей Ефи-

мыч сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал, вздрагивал и судорожно запахивался в халат, а доктор сидел неподвижно, опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами.

На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали.

— А наш дед, кажется, совсем сдрефил! — сказал Хоботов, выходя из флигеля.

— Господи, помилуй нас, грешных! — вздохнул благолепный Сергей Сергееч, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов.— Признаться, уважаемый Евгений Федорыч, я давно уже ожидал этого!

ХII

После этого Андрей Ефимыч стал замечать кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки и больные при встрече с ним вопросительно взглядывали на него и потом шептались. Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду, теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке, почему-то убегала от него. Почтмейстер Михаил Аверьяныч, слушая его, уже не говорил: «Совершенно верно», а в непонятном смущении бормотал: «Да, да, да...» и глядел на него задумчиво и печально; почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный, говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выздоровели. Два-три раза приходил к Андрею Ефимычу коллега Хоботов; он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий.

В августе Андрей Ефимыч получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Придя в назначенное время в управу, Андрей Ефимыч застал там воинского начальника, штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Хоботова и еще какого-то полного белокурого господина, которо-

го представили ему как доктора. Этот доктор, с польскою, трудно выговариваемою фамилиею, жил в тридцати верстах от города, на конском заводе, и был теперь в городе проездом.

— Тут заявленьице по вашей части-с,— обратился член управы к Андрею Ефимычу после того, как все поздоровались и сели за стол.— Вот Евгений Федорыч говорят, что аптеке тесновато в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей. Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но главная причина — флигель ремонту захочет.

— Да, без ремонта не обойтись,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей пятьсот. Расход непроизводительный.

Немного помолчали.

— Я уже имел честь докладывать десять лет назад,— продолжал Андрей Ефимыч тихим голосом,— что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью не по средствам. Строилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивает на ненужные постройки и лишние должности. Я думаю, на эти деньги можно было бы, при других порядках, содержать две образцовые больницы.

— Так вот и давайте заводить другие порядки! — живо сказал член управы.

— Я уже имел честь докладывать: передайте медицинскую часть в ведение земства.

— Да, передайте земству деньги, а оно украдет,— засмеялся белокурый доктор.

— Это как водится,— согласился член управы и тоже засмеялся.

Андрей Ефимыч вяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал:

— Надо быть справедливым.

Опять помолчали. Подали чай. Военский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимыча и сказал:

— Совсем вы нас забыли, доктор. Впрочем, вы монахи: в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом.

Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. Ни театра, ни музыки, а на последнем танцевальном вечере в клубе было около двадцати дам и только два кавалера. Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты. Андрей Ефимыч медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Хоботов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил:

— Андрей Ефимыч, какое сегодня число?

Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимыча, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате № 6 живет замечательный пророк.

В ответ на последний вопрос Андрей Ефимыч покраснел и сказал:

— Да, это больной, но интересный молодой человек.

Больше ему не задавали никаких вопросов.

Когда он в передней надевал пальто, воинский начальник положил руку ему на плечо и сказал со вздохом:

— Нам, старикам, на отдых пора!

Выйдя из управы, Андрей Ефимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему, покраснел, и почему-то теперь первый раз в жизни ему стало горько жаль медицину.

«Боже мой,— думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его,— ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен,— откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии!»

И в первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным и рассерженным.

В тот же день вечером у него был Михаил Аверьяныч. Не здороваясь, почтмейстер подошел к нему, взял его за обе руки и сказал взволнованным голосом:

— Дорогой мой, друг мой, докажите мне, что вы верите в мое искреннее расположение и считаете меня своим другом... Друг мой! — и, мешая говорить Андрею Ефимычу, он продолжал, волнуясь:— Я люблю вас за образованность и благородство души. Слушайте меня, мой дорогой. Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду-матку: вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда, это давно уже заметили все окружающие. Сейчас мне доктор Евгений Федорыч говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься. Совершенно верно! Превосходно! На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне друг, поедem вместе! Поедем, тряхнем стариной.

— Я чувствую себя совершенно здоровым,— сказал Андрей Ефимыч, подумав.— Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу.

Ехать куда-то, неизвестно зачем, без книг, без Дарьюшки, без пива, резко нарушить порядок жизни, установившийся за двадцать лет,— такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическою. Но он вспомнил разговор, бывший в управе, и тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой, и мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим, улыбнулась ему.

— А вы, собственно, куда намерены ехать?— спросил он.

— В Москву, в Петербург, в Варшаву... В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный! Едемте, дорогой мой!

XIII

Через неделю Андрею Ефимычу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно, а еще через неделю он и Михаил Аверьяныч уже сидели в почтовом тарантасе и ехали на ближайшую железнодорожную станцию. Дни были прохладные, ясные, с голубым небом и с прозрачною далью. Двести верст до станции проехали в двое суток и по пути два раза ночевали. Когда на почтовых станциях подавали чаю дурно вымытые стаканы или долго запрягали ло-

шадей, то Михаил Аверьяныч багровел, трясся всем телом и кричал: «Замолчать! не рассуждать!» А сидя в тарантасе, он, не переставая ни на минуту, рассказывал о своих поездках по Кавказу и Царству Польскому. Сколько было приключений, какие встречи! Он говорил громко и при этом делал такие удивленные глаза, что можно было подумать, что он лгал. Вдобавок, рассказывая, он дышал в лицо Андрею Ефимычу и хохотал ему в ухо. Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться.

По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, в вагоне для некурящих. Публика наполовину была чистая. Михаил Аверьяныч скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возмутительным дорогам. Кругом мошенничество! То ли дело верхом на коне: отмахиваешь в один день сто верст и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. А неурожаи у нас оттого, что осушили Пинские болота. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко и не давал говорить другим. Эта бесконечная болтовня попеременно с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимыча.

«Кто из нас обоих сумасшедший? — думал он с досадой. — Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров, или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех, и оттого никому не дает покоя?»

В Москве Михаил Аверьяныч надел военный сюртук без погонов и панталоны с красными кантами. На улице он ходил в военной фуражке и в шинели, и солдаты отдавали ему честь. Андрею Ефимычу теперь казалось, что это был человек, который из всего барского, которое у него когда-то было, промотал все хорошее и оставил себе одно только дурное. Он любил, чтобы ему служивали, даже когда это было совершенно не нужно. Спички лежали перед ним на столе, и он их видел, но кричал человеку, чтобы тот подал ему спички; при горничной он не стеснялся ходить в одном нижнем белье; лакеям всем без разбора, даже старикам, говорил «ты» и, осердившись, величал их болванами и дураками. Это, как казалось Андрею Ефимычу, было барственно, но гадко.

Прежде всего Михаил Аверьяныч повел своего друга к Иверской. Он молился горячо, с земными поклонами и со слезами, и когда кончил, глубоко вздохнул и сказал:

— Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься. Приложитесь, голубчик.

Андрей Ефимыч сконфузился и приложился к образу, а Михаил Аверьяныч вытянул губы и, покачивая головой, помолился шепотом, и опять у него на глазах навернулись слезы. Затем пошли в Кремль и посмотрели там на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали, полюбовались видом на Замоскворечье, побывали в храме Спасителя и в Румянцевском музее.

Обедали они у Тестова. Михаил Аверьяныч долго смотрел в меню, разглаживая бакены, и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторанах как дома:

— Посмотрим, чем вы нас сегодня покормите, ангел!

XIV

Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно: досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться, а друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему возможно больше развлечений. Когда не на что было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимыч, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимыч лег на диван, лицом к спинке, и, стиснув зубы, слушал своего друга, который горячо уверял его, что Франция рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиение, но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьянычу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться.

Оставшись один, Андрей Ефимыч предался чувству отдыха. Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате! Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил богу, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимыч хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьяныч не выходил у него из головы.

«А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия,— думал доктор с досадой.— Хуже нет ничего, как эта дружеская опека. Ведь вот, кажется, и добр, и великодушен, и весельчак, а скучен. Нестерпимо скучен. Так же вот бывают люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди».

В следующие затем дни Андрей Ефимыч сказывался больным и не выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами, или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее; настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось.

Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван Дмитрич,— думал он, сердясь на свою мелочность.— Впрочем, вздор... Приеду домой, и все пойдет по-старому...»

И в Петербурге то же самое: он по целым дням не выходил из номера, лежал на диване и вставал только затем, чтобы выпить пива.

Михаил Аверьяныч все время торопил ехать в Варшаву.

— Дорогой мой, зачем я туда поеду?— говорил Андрей Ефимыч умоляющим голосом.— Поезжайте одни, а мне позвольте ехать домой! Прошу вас!

— Ни под каким видом!— протестовал Михаил Аверьяныч.— Это изумительный город. В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни.

У Андрея Ефимыча не хватило характера настоять на своем, и он скрепя сердце поехал в Варшаву. Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски, а Михаил Аверьяныч, по

обыкновенно, здоровый, бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он не ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя, потом остановился и сказал:

— Честь прежде всего!

Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом:

— Да, честь прежде всего! Будь проклята минута, когда мне впервые пришлось в голову ехать в этот Вавилон! Дорогой мой,— обратился он к доктору,— презирайте меня: я проигрался! Дайте мне пятьсот рублей!

Андрей Ефимыч отсчитал пятьсот рублей и молча отдал их своему другу. Тот, все еще багровый от стыда и гнева, бессвязно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал:

— Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проклятом городе. Мошенники! Австрийские шпионы!

Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимыча занимал доктор Хоботов; он жил еще на старой квартире в ожидании, когда Андрей Ефимыч приедет и очистит больничную квартиру. Некрасивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей.

По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со зрителем и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения.

Андрею Ефимычу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру.

— Друг мой,— сказал ему робко почтмейстер,— извините за нескромный вопрос: какими средствами вы располагаете?

Андрей Ефимыч молча сосчитал свои деньги и сказал:

— Восемьдесят шесть рублей.

— Я не о том спрашиваю,— проговорил в смущении

нии Михаил Аверьяныч, не поняв доктора.— Я спрашиваю, какие у вас средства вообще?

— Я же и говорю вам: восемьдесят шесть рублей... Больше у меня ничего нет.

Михаил Аверьяныч считал доктора честным и благородным человеком, но все-таки подозревал, что у него есть капитал, по крайней мере, тысяч в двадцать. Теперь же, узнав, что Андрей Ефимыч нищий, что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.

XV

Андрей Ефимыч жил в трехконном домике мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них, с окнами на улицу, занимал доктор, а в третьей и в кухне жили Дарьюшка и мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник, пьяный мужик, бушевавший по почам и наводивший на детей и на Дарьюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки, всем становилось очень тесно, и доктор из жалости брал к себе плачущих детей, укладывал их у себя на полу, и это доставляло ему большое удовольствие.

Вставал он по-прежнему в восемь часов и после чаю садился читать свои старые книги и журналы. На новые у него уже не было денег. Оттого ли, что книги были старые, или, быть может, от перемены обстановки, чтение уже не захватывало его глубоко и утомляло. Чтобы не проводить времени в праздности, он составлял подробный каталог своим книгам и приклеивал к их корешкам билетки, и эта механическая, кропотливая работа казалась ему интереснее, чем чтение. Однообразная кропотливая работа каким-то непонятным образом убаюкивала его мысли, он ни о чем не думал, и время проходило быстро. Даже сидеть в кухне и чистить с Дарьюшкой картофель или выбирать сор из гречневой крупы ему казалось интересно. По субботам и воскресеньям он ходил в церковь. Стоя около стены и зажмурив глаза, он слушал пение и думал об отце, о матери, об университете, о религиях; ему было покойно, грустно и потом, уходя из церкви, он жалел, что служба так скоро кончилась.

Он два раза ходил в больницу к Ивану Дмитричу, чтобы поговорить с ним. Но в оба раза Иван Дмитрич был необыкновенно возбужден и зол; он просил оставить его в покое, так как ему давно уже надоела пустая болтовня, и говорил, что у проклятых подлых людей он за все страдания просит только одной награды — одиночного заключения. Неужели даже в этом ему отказывают? Когда Андрей Ефимыч простался с ним в оба раза и желал покойной ночи, то он огрызнулся и говорил:

— К черту!

И Андрей Ефимыч не знал теперь, пойти ему в третий раз или нет. А пойти хотелось.

Прежде в послеобеденное время Андрей Ефимыч ходил по комнатам и думал, теперь же он от обеда до вечернего чая лежал на диване лицом к спинке и предавался мелочным мыслям, которых никак не мог побороть. Ему было обидно, что за его больше чем двадцатилетнюю службу ему не дали ни пенсии, ни единовременного пособия. Правда, он служил нечестно, но ведь пенсию получают все служащие без различия, честны они или нет. Современная справедливость заключается именно в том, что чинами, орденами и пенсиями награждаются не нравственные качества и способности, а вообще служба, какая бы она ни была. Почему же он один должен составлять исключение? Денег у него совсем не было. Ему было стыдно проходить мимо лавочки и глядеть на хозяйку. За пиво должны уже тридцать два рубля. Мещанке Беловой тоже должны. Дарьюшка потихоньку продает старые платья и книги и лжет хозяйке, что скоро доктор получит очень много денег.

Он сердился на себя за то, что истратил на путешествие тысячу рублей, которая у него была скоплена. Как бы теперь пригодилась эта тысяча! Ему было досадно, что его не оставляют в покое люди. Хоботов считал своим долгом изредка навещать больного коллегу. Все было в нем противно Андрею Ефимычу: и сытое лицо, и дурной, снисходительный тон, и слово «коллега», и высокие сапоги; самое же противное было то, что он считал своею обязанностью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил склянку с бромистым калием и пилюли из ревеня.

И Михаил Аверьяныч тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимычу с напускною развязностью, принужденно хохотал и начинал уверять его, что он сегодня прекрасно выглядит и что дела, слава богу, идут на поправку, и из этого можно было заключить, что положение своего друга он считал безнадежным. Он не выплатил еще своего варшавского долга и был удручен тяжелым стыдом, был напряжен и потому старался хохотать громче и рассказывать смешнее. Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными и были мучительны и для Андрея Ефимыча, и для него самого.

В его присутствии Андрей Ефимыч ложился обыкновенно на диван лицом к стене и слушал, стиснув зубы; на душу его пластами ложилась накипь, и после каждого посещения друга он чувствовал, что накипь эта становится все выше и словно подходит к горлу.

Чтобы заглушить мелочные чувства, он спешил думать о том, что и он сам, и Хоботов, и Михаил Аверьяныч должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. Если вообразить, что через миллион лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, то он увидит только глину и голые утесы. Все — и культура, и нравственный закон — пропадет и даже лопухом не порастет. Что же значат стыд перед лавочником, ничтожный Хоботов, тяжелая дружба Михаила Аверьяныча? Все это вздор и пустяки.

Но такие рассуждения уже не помогали. Едва он воображал земной шар через миллион лет, как из-за голого утеса показывался Хоботов в высоких сапогах или напряженно хохочущий Михаил Аверьяныч и даже слышался стыдливый шепот: «А варшавский долг, голубчик, возвращу на этих днях... Непременно».

XVI

Однажды Михаил Аверьяныч пришел после обеда, когда Андрей Ефимыч лежал на диване. Случилось так, что в это же время явился и Хоботов с бромистым калием. Андрей Ефимыч тяжело поднялся, сел и уперся обеими руками о диван.

— А сегодня, дорогой мой,— начал Михаил Аверья-

ныч,— у вас цвет лица гораздо лучше, чем вчера. Да вы молодцом! Ей-богу, молодцом!

— Пора, пора поправляться, коллега,— сказал Хоботов, зевая.— Небось вам самим надоела эта канитель.

— И поправимся! — весело сказал Михаил Аверьяныч.— Еще лет сто жить будем! Так-тось!

— Сто не сто, а двадцать еще хватит,— утешал Хоботов.— Ничего, ничего, коллега, не унывайте... Будет вам тень наводить.

— Мы еще покажем себя! — захохотал Михаил Аверьяныч и похлопал друга по колену.— Мы еще покажем! Будущим летом, бог даст, махнем на Кавказ и весь его верхом объедем — гоп! гоп! гоп! А с Кавказа вернемся, гляди, чего доброго, на свадьбе гулять будем.— Михаил Аверьяныч лукаво подмигнул глазом.— Женим вас, дружка милого... женим...

Андрей Ефимыч вдруг почувствовал, что накипь подходит к горлу; у него страшно забилося сердце.

— Это пошло! — сказал он, быстро вставая и отходя к окну.— Неужели вы не понимаете, что вы говорите пошлости?

Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг сжал кулаки и поднял их выше головы.

— Оставьте меня! — крикнул он не своим голосом, багровея и дрожа всем телом.— Вон! Оба вон, оба!

Михаил Аверьяныч и Хоботов встали и устали на него сначала с недоумением, потом со страхом.

— Оба вон! — продолжал кричать Андрей Ефимыч.— Тупые люди! Глупые люди! Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!

Хоботов и Михаил Аверьяныч, растерянно переглядываясь, попятились к двери и вышли в сени. Андрей Ефимыч схватил склянку с бромистым калием и швырнул им вслед; склянка со звоном разбилась о порог.

— Убирайтесь к черту! — крикнул он плачущим голосом, выбегая в сени.— К черту!

По уходе гостей Андрей Ефимыч, дрожа как в лихорадке, лег на диван и долго еще повторял:

— Тупые люди! Глупые люди!

Когда он успокоился, то прежде всего ему пришло на мысль, что бедному Михаилу Аверьянычу теперь, должно быть, страшно стыдно и тяжело на душе и что

все это ужасно. Никогда раньше не случалось ничего подобного. Где же ум и такт? Где уразумение вещей и философское равнодушие?

Доктор всю ночь не мог уснуть от стыда и досады на себя, а утром, часов в десять, отправился в почтовую контору и извинился перед почтмейстером.

— Не будем вспоминать о том, что произошло,— сказал со вздохом растроганный Михаил Аверьяныч, крепко пожимая ему руку.— Кто старое помянет, тому глаз вон. Любавкин! — вдруг крикнул он так громко, что все почтальоны и посетители вздрогнули.— Поддай стул. А ты подожди! — крикнул он бабе, которая сквозь решетку протягивала к нему заказное письмо.— Разве не видишь, что я занят? Не будем вспоминать старое,— продолжал он нежно, обращаясь к Андрею Ефимычу.— Садитесь, покорнейше прошу, мой дорогой.

Он минуту молча поглаживал себе колени и потом сказал:

— У меня и в мыслях не было обижаться на вас. Болезнь не свой брат, я понимаю. Ваш припадок испугал нас вчера с доктором, и мы долго потом говорили о вас. Дорогой мой, отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Разве можно так? Извините за дружескую откровенность,— зашептал Михаил Аверьяныч,— вы живете в самой неблагоприятной обстановке: теснота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что... Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайте нашего совета: ложитесь в больницу. Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорыч хотя и моветон¹, между нами говоря, но сведущий, на него вполне можно положиться. Он дал мне слово, что займется вами.

Андрей Ефимыч был тронут искренним участием и слезами, которые вдруг заблестели на щеках у почтмейстера.

— Уважаемый, не верьте! — зашептал он, прикладывая руку к сердцу.— Не верьте им! Это обман! Болезнь моя только в том, что за двадцать лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой, а просто я попал

¹ человек дурного тона (от франц. *mauvais ton*).

в заколдованный круг, из которого нет выхода. Мне все равно, я на все готов.

— Ложитесь в больницу, дорогой мой.

— Мне все равно, хоть в яму.

— Дайте, голубчик, слово, что вы будете слушаться во всем Евгения Федорыча.

— Извольте, даю слово. Но, повторяю, уважаемый, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей, клонится к одному — к моей гибели. Я погибаю и имею мужество сознавать это.

— Голубчик, вы выздоровеете.

— К чему это говорить?— сказал Андрей Ефимыч с раздражением.— Редкий человек под конец жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то есть, одним словом, когда люди вдруг обратят на вас внимание, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого уже не выйдете. Будете стараться выйти и еще больше заблудитесь. Сдавайтесь, потому что никакие человеческие усилия уже не спасут вас. Так мне кажется.

Между тем у решетки толпилась публика. Андрей Ефимыч, чтобы не мешать, встал и начал прощаться. Михаил Аверьяныч еще раз взял с него честное слово и проводил его до наружной двери.

В тот же день, перед вечером, к Андрею Ефимычу неожиданно явился Хоботов в полушубке и в высоких сапогах и сказал таким тоном, как будто вчера ничего не случилось:

— А я к вам по делу, коллега. Пришел приглашать вас: не хотите ли со мной на консилиум, а?

Думая, что Хоботов хочет развлечь его прогулкой или в самом деле дать ему заработать, Андрей Ефимыч оделся и вышел с ним на улицу. Он рад был случаю загладить вчерашнюю вину и помириться и в душе благодарил Хоботова, который даже не заикнулся о вчерашнем и, по-видимому, щадил его. От этого некультурного человека трудно было ожидать такой деликатности.

— А где ваш больной?— спросил Андрей Ефимыч.

— У меня в больнице. Мне уж давно хотелось показать вам... Интереснейший случай.

Вошли в больничный двор и, обойдя главный корпус, направились к флигелю, где помещались умалишенные. И все это почему-то молча. Когда вошли во флигель, Никита, по обыкновению, вскочил и вытянулся.

— Тут у одного произошло осложнение со стороны легких,— сказал вполголоса Хоботов, входя с Андреем Ефимычем в палату.— Вы погодите здесь, а я сейчас. Схожу только за стетоскопом.

И вышел.

XVII

Уже смеркалось. Иван Дмитрич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку; паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами. Толстый мужик и бывший сортировщик спали. Было тихо.

Андрей Ефимыч сидел на кровати Ивана Дмитрича и ждал. Но прошло с полчаса, и вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в охапке халат, чье-то белье и туфли.

— Пожалуйста одеваться, ваше высокоблагородие,— сказал он тихо.— Вот ваша постелька, пожалуйста сюда,— добавил он, указывая на пустую, очевидно недавно принесенную, кровать.— Ничего, бог даст, выздоровеете.

Андрей Ефимыч все понял. Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита, и сел; видя, что Никита стоит и ждет, он разделся догола, и ему стало стыдно. Потом он надел больничное платье; кальсоны были очень короткие, рубаха длинна, а от халата пахло копченою рыбой.

— Выздоровеете, бог даст,— повторил Никита.

Он забрал в охапку платье Андеря Ефимыча, вышел и затворил за собой дверь.

«Все равно...— думал Андрей Ефимыч, стыдливо запахиваясь в халат и чувствуя, что в своем новом костюме он похож на арестанта.— Все равно... Все равно, что фрак, что мундир, что этот халат...»

Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать брюк, жилета и сапогов. Все это как-то странно и

даже непонятно в первое время. Андрей Ефимыч и теперь был убежден, что между домом мещанки Беловой и палатой № 6 нет никакой разницы, что все на этом свете вздор и суета сует, а между тем у него дрожали руки, ноги холодели и было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитрич встанет и увидит, что он в халате. Он встал, прошелся и опять сел.

Вот он просидел уже полчаса, час, и ему надоело до тоски; неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну, вот он сидел, прошелся и опять сел; можно пойти и посмотреть в окно и опять пройти из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истукан, и думать? Нет, это едва ли возможно.

Андрей Ефимыч лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченою рыбой. Он опять прошелся.

— Это какое-то недоразумение...— проговорил он, разводя руками в недоумении.— Надо объясниться, тут недоразумение...

В это время проснулся Иван Дмитрич. Он сел и подпер щеки кулаками. Сплюнул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, в первую минуту ничего не понял; но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым.

— Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сильным спросонок голосом, зажмурив один глаз.— Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно!

— Это какое-то недоразумение...— проговорил Андрей Ефимыч, пугаясь слов Ивана Дмитрича; он пожал плечами и повторил:— Недоразумение какое-то...

Иван Дмитрич опять сплюнул и лег.

— Проклятая жизнь!— поворчал он.— И что горько и обидно, ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью; придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал. Брр! Ну, ничего... Зато на том свете будет наш праздник... Я с того света буду являться сюда тенью и пугать этих гадин. Я их поседеть заставлю.

Вернулся Мойсейка и, увидев доктора, протянул руку.

— Дай копеечку! — сказал он.

Андрей Ефимыч отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная, багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменною стеной. Это была тюрьма.

«Вот она действительность!» — подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно.

Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимыч оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом. И это показалось страшным.

Андрей Ефимыч уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что и психически здоровые люди носят ордена и что все со временем сгинет и обратится в глину, но отчаяние вдруг овладело им, он ухватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддавалась.

Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитрича и сел.

— Я пал духом, дорогой мой, — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. — Пал духом.

— А вы пофилософствуйте, — сказал насмешливо Иван Дмитрич.

— Боже мой, боже мой... Да, да... Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда, — сказал Андрей Ефимыч таким тоном, как будто хотел заплакать и пожаловаться. — Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать этой мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку, подобию божию, нет другого выхода, как идти лекарем в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники! Шарлатанство, узость, пошлость! О боже мой!

— Вы болтаете глупости. Если в лекаря противно, шли бы в министры.

— Никуда, никуда нельзя. Слабы мы, дорогой...

Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал, а стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом... протрация... Слабы мы, дрянные мы... И вы тоже, дорогой мой. Вы умны, благородны, с молоком матери всосали благие порывы, но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели... Слабы, слабы!

Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды, томило Андрея Ефимыча все время с наступления вечера. Наконец он сообразил, что это ему хочется пива и курить.

— Я выйду отсюда, дорогой мой,— сказал он.— Скажу, чтобы сюда огня дали... Не могу так... не в состоянии...

Андрей Ефимыч пошел к двери и отворил ее, но тотчас же Никита вскочил и загородил ему дорогу.

— Куда вы? Нельзя, нельзя! — сказал он.— Пора спать!

— Но я только на минуту, по двору пройтись! — оторопел Андрей Ефимыч.

— Нельзя, нельзя, не приказано. Сами знаете.

Никита захлопнул дверь и прислонился к ней спиной.

— Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого?— спросил Андрей Ефимыч, пожимая плечами.— Не понимаю! Никита, я должен выйти! — сказал он дрогнувшим голосом.— Мне нужно!

— Не заводите беспорядков, нехорошо! — сказал наставительно Никита.

— Это черт знает что такое! — вскрикнул вдруг Иван Дмитрич и вскочил.— Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда! Это насилие! Произвол!

— Конечно, произвол! — сказал Андрей Ефимыч, подбодряемый криком Ивана Дмитрича.— Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права! Отпусти, тебе говорят!

— Слышишь, тупая скотина? — крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь.— Отвори, а то я дверь выломаю! Живодер!

— Отвори! — крикнул Андрей Ефимыч, дрожа всем телом.— Я требую!

— Поговори еще! — ответил за дверь Никита. — Поговори!

— По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федорыча! Скажи, что я прошу его пожаловать... на минуту!

— Завтра они сами придут.

— Никогда нас не выпустят! — продолжал между тем Иван Дмитрич. — Сгноят нас здесь! О господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Где же справедливость? Отвори, негодяй, я задыхаюсь! — крикнул он сиплым голосом и навалился на дверь. — Я разможжу себе голову! Убийцы!

Никита быстро отворил дверь, грубо, обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимыча, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимычу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати; в самом деле, во рту было солоно: вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками ухватился за чью-то кровать, и в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину.

Громко вскрикнул Иван Дмитрич. Должно быть, и его били.

Затем все стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть. Было страшно. Андрей Ефимыч лег и притаил дыхание; он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку и стиснул зубы, и вдруг в голове его, среди хаоса, ясно мелькнула страшная, невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами, изо дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжение больше чем двадцати лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал, не имел понятия о боли, значит, он не виноват, но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пят. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтоб убить Никиту, потом Хоботова, смотрителя и фельдшера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука и ноги не повиновались; задыхаясь, он рва-

нул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.

XIX

Утром на другой день у него болела голова, гудело в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание. Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно. Он был вчера малодушен, боялся даже луны, искренне высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя. Например, мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги. Но теперь ему было все равно.

Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал.

«Мне все равно, — думал он, когда ему задавали вопросы. — Отвечать не стану... Мне все равно».

После обеда пришел Михаил Аверьяныч и принес четвертку чаю и фунт мармеладу. Дарьюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати с выражением тупой скорби на лице. Посетил его и доктор Хоботов. Он принес склянку с бромистым калием и приказал Никите покурить в палате чем-нибудь.

Под вечер Андрей Ефимыч умер от апоплексического удара. Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту; что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело, даже в пальцы, потянуло от желудка к голове и залило глаза и уши. Позеленело в глазах. Андрей Ефимыч понял, что ему пришел конец, и вспомнил, что Иван Дмитрич, Михаил Аверьяныч и миллионы людей верят в бессмертие. А вдруг оно есть? Но бессмертия ему не хотелось, и он думал о нем только одно мгновение. Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него; потом баба протянула к нему руку с заказным письмом... Сказал что-то Михаил Аверьяныч. Потом все исчезло, и Андрей Ефимыч забылся навеки.

Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергееч, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза.

Через день Андрея Ефимыча хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка.

ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ И ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ

— Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! — говорила громко Софья Львовна. — Ямщик, погоди, я сяду с тобой на козлы.

Она стояла в санях, а ее муж Владимир Никитыч и друг детства Владимир Михайлыч держали ее за руки, чтобы она не упала. Тройка неслась быстро.

— Я говорил, не следовало давать ей коньяку, — шепнул с досадой Владимир Никитыч своему спутнику. — Экий ты, право!

Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною веселостью обыкновенно наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придется возиться с компрессами и каплями.

— Тпрр! — кричала Софья Львовна. — Я хочу править!

Она была искренно весела и торжествовала. В последние два месяца, с самого дня свадьбы, ее томила мысль, что она вышла за полковника Ягича по расчету и, как говорится, *par dépit*¹; сегодня же в загородном ресторане она убедилась, наконец, что любит его страстно. Несмотря на свои пятьдесят четыре года, он был так строен, ловок, гибок, так мило каламбурил и подпевал цыганкам. Право, теперь старики в тысячу раз интереснее молодых, и похоже на то, будто старость и молодость поменялись своими ролями. Полковник стар-

¹ с досады (франц.).

ше ее отца на два года, но может ли это обстоятельство иметь какое-нибудь значение, если, говоря по совести, жизненной силы, бодрости и свежести в нем неизмеримо больше, чем в ней самой, хотя ей только двадцать три года?

«О мой милый! — думала она. — Чудный!»

В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры. К другу детства Владимиру Михайлычу, или попросту Володе, которого она еще вчера любила до сумасбродства, до отчаяния, теперь она чувствовала себя совершенно равнодушной. Сегодня весь вечер он казался ей вялым, сонным, неинтересным, ничтожным, и его хладнокровие, с каким он обыкновенно уклоняется от платежа по ресторанным счетам, на этот раз возмутило ее, и она едва удержалась, чтобы не сказать ему: «Если вы бедный, то сидите дома». Платил один только полковник.

Оттого, быть может, что в глазах у нее мелькали деревья, телеграфные столбы и сугробы, самые разнообразные мысли приходили ей в голову. Она думала: по счету в ресторане уплачено сто двадцать и цыганам — сто, а завтра она, если захочет, может бросить на ветер хоть тысячу рублей, а два месяца назад, до свадьбы, у нее не было и трех рублей собственных, и за каждым пустяком приходилось обращаться к отцу. Какая перемена в жизни!

Мысли у нее путались, и она вспоминала, как полковник Ягич, ее теперешний муж, когда ей было лет десять, ухаживал за тетей, и все в доме говорили, что он погубил ее, и в самом деле тетя часто выходила к обеду с заплаканными глазами и все куда-то уезжала, и говорили про нее, что она, бедняжка, не находит себе места. Он был тогда очень красив и имел необычайный успех у женщин, так что его знал весь город, и рассказывали про него, будто он каждый день ездил с визитами к своим поклонницам, как доктор к больным. И теперь, даже несмотря на седину, морщины и очки, иногда его худощавое лицо, особенно в профиль, кажется прекрасным.

Отец Софьи Львовны был военным доктором и служил когда-то в одном полку с Ягичем. Отец Володи тоже был военным доктором и тоже служил когда-то в одном полку с ее отцом и с Ягичем. Несмотря на любовные приключения, часто очень сложные и беспокой-

ные, Володя учился прекрасно: он кончил курс в университете с большим успехом и теперь избрал своею специальностью иностранную литературу и, как говорят, пишет диссертацию. Живет он в казармах, у своего отца, военного доктора, и не имеет собственных денег, хотя ему уже тридцать лет. В детстве Софья Львовна и он жили в разных квартирах, но под одною крышей, и он часто приходил к ней играть, и их вместе учили танцевать и говорить по-французски; но когда он вырос и сделался стройным, очень красивым юношей, она стала стыдиться его, потом полюбила безумно и любила до последнего времени, пока не вышла за Ягича. Он тоже имел необыкновенный успех у женщин, чуть ли не с четырнадцати лет, и дамы, которые для него изменяли своим мужьям, оправдывались тем, что Володя маленький. Про него недавно кто-то рассказывал, будто бы он, когда был студентом, жил в номерах, поближе к университету, и всякий раз, бывало, как постучишься к нему, то слышались за дверью его шаги и затем извинение вполголоса: «Pardon, je ne suis pas seul»¹. Ягич приходил от него в восторг и благословлял его на дальнейшее, как Державин Пушкина, и, по-видимому, любил его. Оба они по целым часам молча играли на бильярде или в пикет, и если Ягич ехал куда-нибудь на тройке, то брал с собою и Володю, и в тайны своей диссертации Володя посвящал только одного Ягича. В первое время, когда полковник был помоложе, они часто попадали в положение соперников, но никогда не ревновали друг к другу. В обществе, где они бывали вместе, Ягича прозвали Володей большим, а его друга — Володей маленьким.

В санях, кроме Володи большого, Володи маленького и Софьи Львовны, находилась еще одна особа — Маргарита Александровна или, как ее все звали, Рита, кузина госпожи Ягич, девушка уже за тридцать, очень бледная, с черными бровями, в *ripse-peuz*², курившая папиросы без передышки, даже на сильном морозе; всегда у нее на груди и на коленях пепел. Она говорила в нос, растягивая каждое слово, была холодна, могла

¹ Извините, я не один (франц.).

² пенсне (франц.).

пить ликеры и коньяк сколько угодно и не пьянела, и двусмысленные анекдоты рассказывала вяло, безвкусно. Дома она от утра до вечера читала толстые журналы, обсыпая их пеплом, или кушала мороженые яблоки.

— Соня, перестань беситься, — сказала она нараспев. — Право, глупо даже.

В виду заставы тройка понеслась тише, замелькали дома и люди, и Софья Львовна присмирела, прижалась к мужу и вся отдалась своим мыслям. Володя маленький сидел против. Теперь уже к веселым, легким мыслям стали примешиваться и мрачные. Она думала: этому человеку, который сидит против, было известно, что она вышла за полковника *rag dépit*. Она еще ни разу не признавалась ему в любви и не хотела, чтобы он знал, и скрывала свое чувство, но по лицу его видно было, что он превосходно понимал ее — и самолюбие ее страдало. Но в ее положении унизительнее всего было то, что после свадьбы этот Володя маленький вдруг стал обращать на нее внимание, чего раньше никогда не бывало, просиживал с ней по целым часам молча или болтая о пустяках, и теперь в санях, не разговаривая с нею, он слегка наступал ей на ноги и пожимал руку; очевидно, ему только и нужно было, чтобы она вышла замуж; и очевидно было, что он презирает ее и что она возбуждает в нем интерес лишь известного свойства, как дурная и непорядочная женщина. И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать...

Как раз в то самое время, когда проезжали мимо женского монастыря, раздался удар большого тысячепудового колокола. Рита перекрестилась.

— В этом монастыре наша Оля, — сказала Софья Львовна и тоже перекрестилась и вздрогнула.

— Зачем она пошла в монастырь? — спросил полковник.

— *Rag dépit*, — сердито ответила Рита, очевидно намекая на брак Софьи Львовны с Ягичем. — Теперь в моде этот *rag dépit*. Вызов всему свету. Была хохотушка, отчаянная кокетка, любила только балы да кавалеров и вдруг — на-поди! Удивила!

— Это неправда, — сказал Володя маленький, опуская воротник шубы и показывая свое красивое лицо. — Тут не *rag dépit*, а сплошной ужас, если хотите. Ее брата, Дмитрия, сослали в каторжные работы, и теперь неизвестно, где он. А мать умерла с горя.

Он опять поднял воротник.

— И хорошо сделала Оля, — добавил он глухо. — Жить на положении воспитанницы, да еще с таким золотом, как Софья Львовна, — тоже подумать надо!

Софья Львовна услышала в его голосе презрительный тон и хотела сказать ему дерзость, но промолчала. Ею опять овладел тот же задор; она поднялась на ноги и крикнула плачущим голосом:

— Я хочу к утрене! Ямщик, назад! Я хочу Олю видеть!

Повернули назад. Звон монастырского колокола был густой, и, как казалось Софье Львовне, что-то в нем напоминало об Оле и ее жизни. Зазвонили и в других церквях. Когда ямщик осадил тройку, Софья Львовна выскочила из саней и одна, без провожатого, быстро пошла к воротам.

— Скорей, пожалуйста! — крикнул ей муж. — Уже поздно!

Она прошла темными воротами, потом по аллее, которая вела от ворот к главной церкви, и снежок хрустел у нее под ногами, и звон раздавался уже над самою головой и, казалось, проникал во все ее существо. Вот церковная дверь, три ступеньки вниз, затем притвор с изображениями святых по обе стороны, запахло можжевельником и ладаном, опять дверь, и темная фигурка отворяет ее и кланяется низко-низко... В церкви служба еще не начиналась. Одна монашенка ходила около иконостаса и зажигала свечи на ставниках, другая зажигала паникадило. Там и сям, ближе к колоннам и боковым приделам, стояли неподвижно черные фигуры. «Значит, как они стоят теперь, так уж не сойдут до самого утра», — подумала Софья Львовна, и ей показалось тут темно, холодно, скучно», — скучнее, чем на кладбище. Она с чувством скуки поглядела на неподвижные, застывшие фигуры, и вдруг сердце у нее сжалось. Почему-то в одной из монашенок, небольшого роста, с худенькими плечами и с черною косынкой на голове, она узнала Олю, хотя Оля, когда уходила в

монастырь, была полная и как будто повыше. Нерешительно, сильно волнуясь отчего-то, Софья Львовна пошла к послушнице и через плечо поглядела ей в лицо и узнала Олю.

— Оля! — сказала она и всплеснула руками, и уж не могла говорить от волнения, — Оля!

Монашенка тотчас же узнала ее, удивленно подняла брови, и ее бледное, недавно умытое, чистое лицо и даже, как показалось, ее белый платочек, который виден был из-под косынки, просияли от радости.

— Вот господь чудо послал, — сказала она и тоже всплеснула своими худыми, бледными ручками.

Софья Львовна крепко обняла ее и поцеловала и боялась при этом, чтобы от нее не пахло вином.

— А мы сейчас ехали мимо и вспомнили про тебя, — говорила она, запыхавшись, как от быстрой ходьбы. — Какая ты бледная, господи! Я... я очень рада тебя видеть. Ну, что? Как? Скучаешь?

Софья Львовна оглянулась на других монахинь и продолжала уже тихим голосом:

— У нас столько перемен... Ты знаешь, я замуж вышла за Ягича, Владимира Никитича. Ты его помнишь, наверное... Я очень счастлива с ним.

— Ну слава богу. А папа твой здоров?

— Здоров. Часто про тебя вспоминает. Ты же, Оля, приходи к нам на праздниках. Слышишь?

— Приду, — сказала Оля и усмехнулась. — Я на второй день приду.

Софья Львовна, сама не зная отчего, заплакала и минутку плакала молча, потом вытерла глаза и сказала:

— Рита будет очень жалеть, что тебя не видела. Она тоже с нами. И Володя тут. Они около ворот. Как бы они были рады, если бы ты повидалась с ними! Пойдем к ним, ведь служба еще не начиналась.

— Пойдем, — согласилась Оля.

Она перекрестилась три раза и вместе с Софьей Львовной пошла к выходу.

— Так ты говоришь, Сонечка, счастлива? — спросила она, когда вышли за ворота.

— Очень.

— Ну, слава богу.

Володя большой и Володя маленький, увидев мо-

нашенку, вышли из саней и почтительно поздоровались; оба были заметно тронуты, что у нее бледное лицо и черное монашеское платье, и обоим было приятно, что она вспомнила про них и пришла поздороваться. Чтобы ей не было холодно, Софья Львовна укутала ее в плед и прикрыла одною полой своей шубы. Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и, в сущности, нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко. И, чтобы удержать подольше около себя Олю, она предложила:

— Давайте ее прокатим! Оля, садись, мы немножко.

Мужчины ожидали, что монашенка откажется, — святые на тройках не ездят, — но, к их удивлению, она согласилась и села в сани. И когда тройка помчалась к заставе, все молчали и только старались, чтобы ей было удобно и тепло, и каждый думал о том, какая она была прежде и какая теперь. Лицо у нее теперь было бесстрастное, маловыразительное, холодное и бледное, прозрачное, будто в жилах ее текла вода, а не кровь. А года два-три назад она была полной, румяной, говорила о женихах, хохотала от малейшего пустяка...

Около заставы тройка повернула назад; когда она минут через десять остановилась около монастыря, Оля вышла из саней. На колокольне уже перезванивали.

— Спаси вас господи, — сказала Оля и низко, по-монашески, поклонилась.

— Так ты же приходи, Оля.

— Приду, приду.

Она быстро пошла и скоро исчезла в темных воротах. И после этого почему-то, когда тройка поехала дальше, стало грустно-грустно. Все молчали. Софья Львовна почувствовала во всем теле слабость и пала духом; то, что она заставила монашенку сесть в сани и прокатиться на тройке, в нетрезвой компании, казалось ей уже глупым, бестактным и похожим на кощунство; вместе с хмелем у нее прошло и желание обманывать себя, и для нее уже ясно было, что мужа своего она не любит и любить не может, что все вздор и глупость. Она вышла из расчета, потому что он, по выражению ее институтских подруг, безумно богат, и потому что ей страшно было оставаться в старых де-

вах, как Рита, и потому, что надоел отец-доктор и хотелось досадить Володе маленькому. Если бы она могла предположить, когда выходила, что это так тяжело, жутко и безобразно, то она ни за какие блага в свете не согласилась бы венчаться. Но теперь беды не поправишь. Надо мириться.

Приехали домой. Ложась в теплую мягкую постель и укрываясь одеялом, Софья Львовна вспомнила темный притвор, запах ладана и фигуры у колонн, и ей было жутко от мысли, что эти фигуры будут стоять неподвижно все время, пока она будет спать. Утренняя будет длинная-длинная, потом часы, потом обедня, молебен...

«Но ведь бог есть, наверное есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля. Оля теперь спасена, она решила для себя все вопросы... Но если бога нет? Тогда пропала ее жизнь. То есть как пропала? Почему пропала?»

А через минуту в голову опять лезет мысль:

«Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. Она готова. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть... да... Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь — значит отречься от жизни, погубить ее...»

Софье Львовне становилось немножко страшно; она спрятала голову под подушку.

— Не надо об этом думать, — шептала она. — Не надо...

Ягич ходил в соседней комнате по ковру, мягко звеня шпорами, и о чем-то думал. Софье Львовне пришла мысль, что этот человек близок и дорог ей только в одном: его тоже зовут Владимиром. Она села на постель и позвала нежно:

— Володя!

— Что тебе? — отозвался муж.

— Ничего.

Она опять легла. Послышался звон, быть может, тот же самый монастырский, припомнились ей опять притвор и темные фигуры, забродили в голове мысли о боге и неизбежной смерти, и она укрылась с головой,

чтобы не слышать звона: она сообразила, что, прежде чем наступят старость и смерть, будет еще тянуться длинная-длинная жизнь, и изо дня в день придется считаться с близостью нелюбимого человека, который вот пришел уже в спальню и ложится спать, и придется душить в себе безнадежную любовь к другому — молодому, обаятельному и, как казалось ей, необыкновенному. Она взглянула на мужа и хотела пожелать ему доброй ночи, но вместо этого вдруг заплакала. Ей было досадно на себя.

— Ну, начинается музыка! — проговорил Ягич, делая ударение на *зы*.

Она успокоилась, но поздно, только к десятому часу утра; она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у ней начиналась сильная головная боль. Ягич то-ропился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на денщика, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз — уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма, и Софье Львовне показалось почему-то, что он ходит и смотрит, как хищник.

Она слышала, как Ягич позвонил у телефона.

— Будьте добры, соедините с Васильевскими казармами! — сказал он; а через минуту: — Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Салимовича... — И еще через минуту: — С кем говорю? Ты, Володя? Очень рад. Попроси, милый, отца приехать сейчас к нам, а то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего. Нет дома, говоришь? Гм... Благодарю. Прекрасно... премного обяжешь... Мерсі.

Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку (женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому) и сказал, что вернется к обеду. И вышел.

В двенадцатом часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлыч. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета, с меховой обшивкой, наскоро кое-как причесалась; она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти. Ей бы только взглянуть на него.

Володя маленький пришел с визитом, как следует,

во фраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренно пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот.

— А меня расстроило вчерашнее свидание с Олей,— сказала она.— Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую. Она — несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь; но неужели, Володя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Ведь это смерть, а не жизнь.

При воспоминании об Оле на лице у Володи маленького показалось умиление.

— Вот вы, Володя, умный человек, — сказала Софья Львовна, — научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующая и в монастырь не пошла бы, но ведь можно сделать что-нибудь равносильное. Мне нелегко живется, — продолжала она, помолчав немного. — Научите же... Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите.

— Одно слово? Извольте: тарарабумбия.

— Володя, за что вы меня презираете? — спросила она живо. — Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех как ученый, вы любите науку, но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я недостойна?

Володя маленький досадливо поморщился и сказал:

— Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?

— Ну, хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина... У меня тьма, тьма ошибок, я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо. Но ведь вы, Володя, старше меня на десять лет, а муж старше меня на тридцать лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы хотели, то могли бы сделать из меня все, что вам угодно, хоть ангела. Но вы... (голос у нее дрогнул) поступаете со мной ужасно. Ягич женился на мне, когда уже постарел, а вы...

— Ну, полно, полно, — сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. — Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать все, что им угодно, а сами будем целовать эти ручки.

— Вы меня презираете и если б вы знали, как я страдаю от этого! — сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. — А если б вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь! Я с восторгом думаю об этом, — проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга. — Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни.

— Ну, ну, ну, пожалуйста, не ломайтесь! Не люблю! — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. — Ей богу, точно на сцене. Будем держать себя по-человечески.

Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась, и опять заговорила об Оле и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.

— Тара...ра...бумбия... — запел он вполголоса: — Тара...ра...бумбия!

И неожиданно взял ее за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки и минуту с восхищением, точно в чадую каком-то, смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду...

— Ты сам давно знаешь, я люблю тебя, — созналась она ему и мучительно покраснела и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. — Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?

Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы, и долго, пожалуй с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга...

— О, как ты меня мучаешь! — повторила она.

Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтоб ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая как ребенка, запел:

— Тара...рабумбия... Тара...рабумбия!

А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом:

— Когда? Сегодня? Где?

И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками.

— Сегодня едва ли это удобно, — сказал он, подумав. — Вот разве завтра.

И они расстались. Перед обедом Софья Львовна поехала в монастырь к Оле, но там сказали ей, что Оля где-то по покойнике читает псалтир. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома, потом переменяла извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели, и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетя с заплаканными глазами, которая не находила себе места.

А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко от мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать или же идти в монастырь убивать плоть... А на другой день было свидание, и опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю.

Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет, Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты, Софья Львовна все ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке.

Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенное, а Оля машинально, тоном заученного урока говорила ей, что все это ничего, все пройдет и бог простит.

СТУДЕНТ

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку. Протянул один вальдшнеп, и выстрел по нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но, когда стемнело в лесу, нехстати подул с востока холодный, пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги домой, шел все время заливым лугом по тропинке. У него заоченели пальцы и разгорелось от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо. Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки светился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом,

мрак, чувство гнета — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Очевидно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке поили лошадей.

— Вот вам и зима пришла назад, — сказал студент, подходя к костру. — Здравствуйте!

Василиса вздрогнула, то тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.

— Не узнала, бог с тобой, — сказала она. — Богатым быть.

Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

— Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, — сказал студент, протягивая к огню руки. — Значит, и тогда было холодно. Ах, какая была страшная ночь, бабушка! До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:

— Небось была на двенадцати Евангелиях?

— Была, — ответила Василиса.

— Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в темницу и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не

мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в ту же ночь поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед... Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били...

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.

— Пришли к первосвященнику, — продолжал он, — Иисуса стали допрашивать, а работники тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И этот был с Иисусом», то есть что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он сказал ему на вечери... Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания...

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы, крупные, избыточные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обоим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать, а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, — ему было только двадцать два года, — и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла.

АННА НА ШЕЕ

I

После венчания не было даже легкой закуски; молодые выпили по бокалу, переоделись и поехали на вокзал. Вместо веселого свадебного бала и ужина, вместо музыки и танцев — поездка на богомолье за двести верст. Многие одобряли это, говоря, что Модест Алексеич уже в чинах и не молод и шумная свадьба могла бы, пожалуй, показаться не совсем приличной; да и скучно слушать музыку, когда чиновник пятидесяти двух лет женится на девушке, которой едва минуло восемнадцать. Говорили также, что эту поездку в монастырь Модест Алексеич, как человек с правилами, затеял, собственно, для того, чтобы дать понять своей молодой жене, что и в браке он отдает первое место религии и нравственности.

Молодых провожали. Толпа сослуживцев и родных стояла с бокалами и ждала, когда пойдет поезд, чтобы крикнуть «ура», и Петр Леонтьич, отец, в цилиндре, в учительском фраке, уже пьяный и уже очень бледный, все тянулся к окну со своим бокалом и говорил умоляюще:

— Анюта! Аня! Аня, на одно слово!

Аня наклонялась к нему из окна, и он шептал ей что-то, обдавая ее запахом винного перегара, дул в ухо, — ничего нельзя было понять, — и крестил ей лицо, грудь, руки; при этом дыхание у него дрожало и на глазах блестели слезы. А братья Ани, Петя и Андрюша, гимназисты, дергали его сзади за фрак и шептали сконфуженно:

— Папочка, будет... Папочка, не надо...

Когда поезд тронулся, Аня видела, как ее отец побежал немножко за вагоном, пошатываясь и расплескивая свое вино, и какое у него было жалкое, доброе, виноватое лицо.

— Ура-а-а! — кричал он.

Молодые остались одни. Модест Алексич осмотрелся в купе, разложил вещи по полкам и сел против своей молодой жены улыбаясь. Это был чиновник среднего роста, довольно полный, пухлый, очень сытый, с длинными бакенами и без усов, и его бритый, круглый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в его лице было отсутствие усов, это свежесвыбритое, голое место, которое постепенно переходило в жирные, дрожашие, как желе, щеки. Держался он солидно, движения у него были не быстрые, манеры мягкие.

— Не могу не припомнить теперь одного обстоятельства, — сказал он улыбаясь. — Пять лет назад, когда Косоротов получил орден святыя Анны второй степени и пришел благодарить, то его сиятельство выразился так: «Значит, у нас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее». А надо сказать, что в то время к Косоротову только что вернулась его жена, особа сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, что когда я получу Анну второй степени, то его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое.

Он улыбался своими маленькими глазками. И она тоже улыбалась, волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее своими полными, влажными губами и что она уже не имеет права отказать ему в этом. Мягкие движения его пухлого тела пугали ее, ей было и страшно и гадко. Он встал, не спеша снял с шеи орден, снял фрак и жилет и надел халат.

— Вот так, — сказал он, садясь рядом с Аней.

Она вспоминала, как мучительно было венчание, когда казалось ей, что и священник, и гости, и все в церкви глядели на нее печально: зачем, зачем она, такая милая, хорошая, выходит за этого пожилого, неинтересного господина? Еще утром сегодня она была в восторге, что все так хорошо устроилось, во время же венчания и теперь в вагоне, чувствовала себя виноватой,

обманутой и смешной. Вот она вышла за богатого, а денег у нее все-таки не было, венчалное платье шили в долг, и, когда сегодня ее провожали отец и братья, она по их лицам видела, что у них не было ни копейки. Будут ли они сегодня ужинать? А завтра? И ей почему-то казалось, что отец и мальчики сидят теперь без нее голодные и испытывают точно такую же тоску, какая была в первый вечер после похорон матери.

«О, как я несчастна! — думала она. — Зачем я так несчастна?»

С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модест Алексеич трогал ее за талию и похлопывал по плечу, а она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец, Петр Леонтьич, учитель чистописания и рисования в гимназии, запил, наступила нужда; у мальчиков не было сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель... Какой стыд! Аня должна была ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок, и, когда хвалили ее красоту, молодость и изящные манеры, ей казалось, что весь свет видит ее дешевую шляпку и дырочки на ботинках, замазанные чернилами. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро отца уволят из гимназии за слабость и что он не перенесет этого и тоже умрет, как мать. Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека. Скоро нашелся вот этот самый Модест Алексеич, не молодой и не красивый, но с деньгами. У него в банке тысяч сто и есть родовое имение, которое он отдает в аренду. Это человек с правилами и на хорошем счету у его сиятельства; ему ничего не стоит, как говорили Ане, взять у его сиятельства записочку к директору гимназии и даже к попечителю, чтобы Петра Леонтьича не увольняли...

Пока она вспоминала эти подробности, послышалась вдруг музыка, ворвавшаяся в окно вместе с шумом голосов. Это поезд остановился на полустанке. За платформой в толпе бойко играли на гармонике и на дешевой визгливой скрипке, а из-за высоких берез и тополей, из-за дач, залитых лунным светом, доносились звуки военного оркестра: должно быть, на дачах был танцевальный вечер. На платформе гуляли дачники и

горожане, приезжавшие сюда в хорошую погоду подышать чистым воздухом. Был тут и Артынов, владелец всего этого дачного места, богач, высокий, полный брюнет, похожий лицом на армянина, с глазами навывкате и в странном костюме. На нем была рубаха, расстегнутая на груди, и высокие сапоги со шпорами, и с плеч спускался черный плащ, тащившийся по земле, как шлейф. За ним, опустив свои острые морды, ходили две борзые.

У Ани еще блстели на глазах слезы, но она уже не помнила ни о матери, ни о деньгах, ни о своей свадьбе, а пожимала руки знакомым гимназистам и офицерам, весело смеялась и говорила быстро:

— Здравствуйте! Как поживаете?

Она вышла на площадку, под лунный свет, и стала так, чтобы видели ее всю в новом великолепном платье и в шляпке.

— Зачем мы здесь стоим? — спросила она.

— Здесь разъезд, — ответили ей, — ожидают почтового поезда.

Заметив, что на нее смотрит Артынов, она кокетливо прищурила глаза и заговорила громко по-французски, и оттого, что ее собственный голос звучал так прекрасно и что слышалась музыка и луна отражалась в пруде, и оттого, что на нее жадно и с любопытством смотрел Артынов, этот известный донжуан и баловник, и оттого, что всем было весело, она вдруг почувствовала радость, и, когда поезд тронулся и знакомые офицеры на прощанье сделали ей под козырек, она уже напевала польку, звуки которой посылали ей вдогонку военный оркестр, гремевший где-то там за деревьями; и вернулась она в свое купе с таким чувством, как будто на полустапке ее убедили, что она будет счастлива непременно, несмотря ни на что.

Молодые пробыли в монастыре два дня, потом вернулись в город. Жили они на казенной квартире. Когда Модест Алексеич уходил на службу, Аня играла на рояле, или плакала от скуки, или ложилась на кушетку и читала романы и рассматривала модный журнал. За обедом Модест Алексеич ел очень много и говорил о политике, о назначениях, переводах и наградах, о том, что надо трудиться, что семейная жизнь есть не удовольствие, а долг, что копейка рубль бережет и что

выше всего на свете он ставит религию и нравственность. И, держа нож в кулаке, как меч, он говорил:

— Каждый человек должен иметь свои обязанности!

А Аня слушала его, боялась и не могла есть и обыкновенно вставала из-за стола голодной. После обеда муж отдыхал и громко храпел, а она уходила к своим. Отец и мальчики посматривали на нее как-то особенно, как будто только что до ее прихода осуждали ее за то, что она вышла из-за денег, за нелюбимого, нудного, скучного человека; ее шуршащее платье, браслетки и вообще дамский вид стесняли, оскорбляли их; в ее присутствии они немножко конфузились и не знали, о чем говорить с ней; но все же любили они ее по-прежнему и еще не привыкли обедать без нее. Она садилась и кушала с ними щи, кашу и картошку, жаренную на бараньем сале, от которого пахло свечкой. Петр Леонтьич дрожащей рукой наливал из графинчика и выпивал быстро, с жадностью, с отвращением, потом выпивал другую рюмку, потом третью... Петя и Андрюша, худенькие, бледные мальчики с большими глазами, брали графинчик и говорили растерянно:

— Не надо, папочка... Довольно, папочка...

И Аня тоже тревожилась и умоляла его больше не пить, а он вдруг вспыхивал и стучал кулаком по столу.

— Я никому не позволю надзирать за мной! — кричал он. — Мальчишки! Девчонка! Я вас всех выгоню вон!

Но в голосе его слышались слабость, доброта, и никто его не боялся. После обеда обыкновенно он наряжался; бледный, с порезанным от бритвы подбородком, вытягивая тощую шею, он целых полчаса стоял перед зеркалом и прихорашивался, то причесываясь, то закручивая свои черные усы, прыскался духами, завязывал бантом галстук, потом надевал перчатки, цилиндр и уходил на частные уроки. А если был праздник, то он оставался дома и писал красками или играл на фисгармонии, которая шипела и рычала; он старался выдавить из нее стройные, гармоничные звуки и подпевал или же сердился на мальчиков:

— Мерзавцы! Негодяи! Испортили инструмент!

По вечерам муж Ани играл в карты со своими сослуживцами, жившими с ним под одной крышей в ка-

женном доме. Сходились во время карт жены чиновников, некрасивые, безвкусно наряженные, грубые, как кухарки, и в квартире начинались сплетни, такие же некрасивые и безвкусные, как сами чиновницы. Случалось, что Модест Алексееч ходил с Аней в театр. В антрактах он не отпускал ее от себя ни на шаг, а ходил с ней под руку по коридорам и по фойе. Раскланявшись с кем-нибудь, он тотчас уже шептал Ане: «Статский советник... принят у его сиятельства...», или: «Со средствами... имеет свой дом...». Когда проходили мимо буфета, Ане очень хотелось чего-нибудь сладкого; она любила шоколад и яблочное пирожное, но денег у нее не было, а спросить у мужа она стеснялась. Он брал грушу, мял ее пальцами и спрашивал нерешительно:

— Сколько стоит?

— Двадцать пять копеек.

— Однако! — говорил он и клал грушу на место; но так как было неловко отойти от буфета, ничего не купивши, то он требовал сельтерской воды и выпивал один всю бутылку, и слезы выступали у него на глазах, и Аня ненавидела его в это время.

Или он, вдруг весь покраснев, говорил ей быстро:

— Поклонись этой старой даме!

— Но я с ней незнакома.

— Все равно. Это супруга управляющего казенной палатой! Поклонись же, тебе говорю! — ворчал он настойчиво. — Голова у тебя не отвалится.

Аня кланялась, и голова у нее в самом деле не отваливалась, но было мучительно. Она делала все, что хотел муж, и злилась на себя за то, что он обманул ее, как последнюю дурочку. Выходила она за него только из-за денег, а между тем денег у нее теперь было меньше, чем до замужества. Прежде хоть отец давал двугривенные, а теперь — ни гроша. Братъ тайно или просить она не могла, она боялась мужа, трепетала его. Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Когда-то в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такую же силой, о которой в семье всегда говорили и которую почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами,

строгие, неумолимые и теперь вот, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора. И в воображении Ани все эти силы сливались в одно и в виде одного страшного, громадного белого медведя надвигались на слабых и виноватых, таких, как ее отец, и она боялась сказать что-нибудь против, и натянуто улыбалась, и выражала притворное удовольствие, когда ее грубо ласкали и оскверняли объятиями, наводившими на нее ужас.

Только один раз Петр Леонтыч осмелился попросить у него пятьдесят рублей взаймы, чтобы заплатить какой-то очень неприятный долг, но какое это было страдание!

— Хорошо, я вам дам, — сказал Модест Алексеич, подумав, — но предупреждаю, что больше уже не буду помогать вам, пока вы не бросите пить. Для человека, состоящего на государственной службе, постыдна такая слабость. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть, между тем как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми.

И потянулись длинные периоды: «по мере того...», «исходя из того положения...», «ввиду только что сказанного», а бедный Петр Леонтыч страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить.

И мальчики, приходившие к Ане в гости, обыкновенно в рваных сапогах и в поношенных брюках, тоже должны были выслушивать наставления.

— Каждый человек должен иметь свои обязанности! — говорил им Модест Алексеич.

А денег не давал. Но зато он дарил Ане кольца, браслеты и броши, говоря, что эти вещи хорошо иметь про черный день. И часто он отпирал ее комод и делал ревизию: все ли вещи целы.

II

Наступила между тем зима. Еще задолго до рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании «имеет быть» обычный зимний бал. Каждый вечер, после карт, Модест Алексеич.

взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думал. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:

— Ты должна сшить себе бальное платье. Пони-маешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марьей Григорьевной и с Натальей Кузьминишной.

И дал ей сто рублей. Она взяла; но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку (до замужества она пять лет прослужила в гувернантках). Аня так же, как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат bijoux¹ и так же, как мать, умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться.

Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеич вошел к ней без сюртука, чтобы перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего, воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакены и сказал:

— Вот ты у меня какая... вот ты какая! Анюта! — продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. — Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства! Ради бога! Через нее я могу получить старшего докладчика!

Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передняя с вешалками, шубы, спящие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра; пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидела в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое пред-

¹ драгоценности (франц.).

чувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а, наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» — и сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляньях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах — она познакомилась с ним на Старо-Киевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии — точно из-под земли вырос и пригласил на вальс, и она отлетела от мужа, и ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке, в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу... Она танцевала страстно, с увлечением и вальс, и польку, и кадрили, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин, это было ясно, да иначе и быть не могло, она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец Петр Леонтьич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.

— Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом, — и никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж... Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но... — Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал: — Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу.

Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко и мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале.

«Как он мил, когда трезв!» — думала она.

Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером; он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притоптывал ногами еле-еле — ему страшно не хотелось танцевать, а она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей; глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король.

— Браво, браво!.. — говорили в публике.

Но мало-помалу и громадного офицера прорвало; он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво, точно она уже была королева, а он раб, и в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки... Это шел к ней его сиятельство, во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.

— Очень рад, очень рад... — начал он. — А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. Я к вам с поручением от жены, — продолжал он, подавая ей руку. — Вы должны помочь нам... М-да... Нужно назначить вам премию за красоту... как в Америке... М-да... Американцы... Моя жена ждет вас с нетерпением.

Он привел ее в избушку, к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.

— Помогите нам, — сказала она в нос, нараспев. — Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?

Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки. Подошел Артынов, богач, с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз с Ани, он выпил бокал шампанского и заплатил сто рублей, потом выпил чаю и дал еще сто — и все это молча, страдая астмой... Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным; никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая пораздовалась бы теперь вместе с ней ее успехам.

Петр Леонтьич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее (ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец), но он выпил, выбросил из своей пачечки десять рублей и важно отошел, не сказав ни слова. Немного погодя она видела, как он шел в паре в *grand gond*, и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал, к великому конфузу своей дамы, и Аня вспомнила, как года три назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал — и кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как некстати было это воспоминание!

Когда в избушках потухли самовары и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало человек двадцать, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост: «В этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара». Бригадный

генерал предложил выпить «за силу, перед которой пасует даже артиллерия», и все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело!

Когда Аню провожали домой, то уже светало и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула...

Во втором часу дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он, глядя на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще и уехал, а она стояла среди гостиной, изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро; и в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеич... И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим сладким, холопским почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово.

— Подите прочь, болван!

После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои; и она не просила, не требовала, а только посылала ему счета или записки: «выдать подателю сего 200 р.» или: «немедленно уплатить 100 р.»

На пасхе Модест Алексеич получил Анну второй степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.

— Значит, у вас теперь три Анны, — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями, — одна в петлице, две на шее.

Модест Алексеич приложил два пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:

— Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники.

Он намекал на Владимира IV степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой...

А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьич запивал сильнее прежнего, денег не было, и фисгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтобы он не упал; и когда во время катанья на Старо-Киевской им встречалась Аня на паре с пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще:

— Не надо, папочка... Будет, папочка..,

АРИАДНА

На палубе парохода, шедшего из Одессы в Севастополь, какой-то господин, довольно красивый, с круглою бородкой, подошел ко мне, чтобы закурить, и сказал:

— Обратите внимание на этих немцев, что сидят около рубки. Когда сойдутся немцы или англичане, то говорят о ценах на шерсть, об урожае, о своих личных делах; но почему-то когда сходимся мы, русские, то говорим только о женщинах и высоких материях. Но главное — о женщинах.

Лицо этого господина было уже знакомо мне. Накануне мы возвращались в одном поезде из-за границы, и в Волочиске я видел, как он во время таможенного осмотра стоял вместе с дамой, своей спутницей, перед целою горой чемоданов и корзин, наполненных дамским платьем, и как он был смущен и подавлен, когда пришлось платить пошлину за какую-то шелковую тряпку, а его спутница протестовала и грозила кому-то пожаловаться; потом по пути в Одессу я видел, как он носил в дамское отделение то пирожки, то апельсины.

Было немножко сыро, слегка покачивало, и дамы ушли к себе в каюты. Господин с круглою бородкой сел со мной рядом и продолжал:

— Да, когда русские сходятся, то говорят только о высоких материях и женщинах. Мы так интеллигентны, так важны, что изрекаем одни истины и можем решать вопросы только высшего порядка. Русский актер не умеет шалить, он в водевиле играет глубоко-мысленно; так и мы: когда приходится говорить о пустяках, то мы трактуем их не иначе, как с высшей точки

зрения. Это недостаток смелости, искренности и простоты. О женщинах же мы говорим так часто потому, мне кажется, что мы не удовлетворены. Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность, мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, разбитые надежды, душевная боль, а что у кого болит, тот о том и говорит. Вам не скучно продолжать этот разговор?

— Нет, нисколько.

— В таком случае позвольте представиться, — сказал мой собеседник, слегка приподнимаясь. — Иван Ильич Шамохин, московский помещик некоторым образом... Вас же я хорошо знаю.

Он сел и продолжал, ласково и искренно глядя мне в лицо:

— Эти постоянные разговоры о женщинах какой-нибудь философ средней руки, вроде Макса Нордау, объяснил бы эротическим помешательством или тем, что мы крепостники и прочее, я же на это дело смотрю иначе. Повторяю: мы не удовлетворены, потому что мы идеалисты. Мы хотим, чтобы существа, которые рожают нас и наших детей, были выше нас, выше всего на свете. Когда мы молоды, то поэтизируем и боготворим тех, в кого влюбляемся; любовь и счастье у нас — синонимы. У нас в России брак не по любви презирается, чувственность смешна и внушает отвращение и наибольшим успехом пользуются те романы и повести, в которых женщины красивы, поэтичны и возвышенны, и если русский человек издавна восторгается рафаэлевской мадонной или озабочен женской эмансипацией, то, уверяю вас, тут нет ничего напускного. Но беда вот в чем. Едва мы женимся или сходимся с женщиной, проходит каких-нибудь два-три года, как уже чувствуем себя разочарованными, обманутыми; сходимся с другими, и опять разочарование, опять ужас, и в конце концов убеждаемся, что женщины лживы, мелочны, суетны, несправедливы, неразвиты, жестоки, — одним словом, не только не выше, но даже неизмеримо ниже нас, мужчин. И нам, неудовлетворенным, обманутым, не остается ничего больше, как брюзжать и походя говорить о том, в чем мы так жестоко обманулись.

Пока Шамохин говорил, я заметил, что русский язык

и русская обстановка доставляли ему большое удовольствие. Это оттого, вероятно, что за границей он сильно соскучился по родине. Хваля русских и приписывая им редкий идеализм, он не отзывался дурно об иностранцах, и это располагало в его пользу. Было также заметно, что на душе у него неладно, и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похожую на исповедь.

И в самом деле, когда мы потребовали бутылку вина и выпили по стакану, он начал так:

— Помнится, в какой-то повести Вельтмана кто-то говорит: «Вот так история!» А другой ему отвечает: «Нет, это не история, а только интродукция в историю». Так и то, что я до сих пор говорил, есть только интродукция, мне же, собственно, хочется рассказать вам свой последний роман. Виноват, я еще раз спрошу: вам не скучно слушать?

Я сказал, что не скучно, и он продолжал:

— Действие происходит в Московской губернии, в одном из ее северных уездов. Природа тут, должен я вам сказать, удивительная. Усадьба наша находится на высоком берегу быстрой речки, у так называемого быркого места, где вода шумит день и ночь; представьте же себе большой старый сад, уютные цветники, пасеку, огород, внизу река с кудрявым ивняком, который в большую росу кажется немножко матовым, точно седеет, а по ту сторону луг, за лугом на холме страшный, темный бор. В этом бору рыжики рождаются видимо-невидимо, и в самой чаще живут лоси. Я умру, заколотят меня в гроб, а все мне, кажется, будут сниться ранние утра, когда, знаете, больно глазам от солнца, или чудные весенние вечера, когда в саду и за садом кричат соловьи и дергачи, а с деревни доносится гармоника, в доме играют на рояле, шумит река — одним словом, такая музыка, что хочется и плакать, и громко петь. Запашка у нас небольшая, но выручают луга, которые вместе с лесом дают тысяч около двух ежегодно. Я у отца единственный сын, оба мы люди скромные, и этих денег, плюс еще отцовская пенсия, совершенно хватало. Первые три года по окончании университета я прожил в деревне, хозяйничал и все ждал, что меня куда-нибудь выберут, главное же, я был сильно влюблен в одну не-

обыкновенно красивую, обаятельную девушку. Была она сестрой моего соседа, помещика Котловича, прогоревшего барина, у которого в имении были ананасы, замечательные персики, громоотводы, фонтан посреди двора и в то же время ни копейки денег. Он ничего не делал, ничего не умел, был какой-то кволий, точно сделанный из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом. Человек он, впрочем, был деликатный, мягкий и неглупый, но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб магнетизмом. Во-первых, у умственно несвободных людей всегда бывает путаница понятий, и говорить с ними чрезвычайно трудно, и, во-вторых, обыкновенно никого они не любят, с женщинами не живут, а эта таинственность действует на впечатлительных людей неприятно. И наружность его мне не нравилась. Он был высок, толст, бел, с маленькой головой, с маленькими блестящими глазами, с белыми пухлыми пальцами. Он не жал вам руку, а мял. И все, бывало, извиняется. Просит что-нибудь — извините, дает — тоже извините. Что же касается его сестры, то это лицо совсем из другой оперы. Надо вам заметить, что в детстве и в юности я не был знаком с Котловичами, так как мой отец был профессором в N. и мы долго жили в провинции, а когда я познакомился с ними, то этой девушке было уже двадцать два года, и она давно успела и институт кончить, и пожить года два-три в Москве, с богатой теткой, которая вывозила ее в свет. Когда я познакомился и мне впервые пришлось говорить с ней, то меня прежде всего поразило ее редкое и красивое имя — Ариадна. Оно так шло к ней! Это была брюнетка, очень худая, очень тонкая, гибкая, стройная, чрезвычайно грациозная, с изящными, в высшей степени благородными чертами лица. У нее тоже блестели глаза, но у брата они блестели холодно и слащаво, как леденцы, в ее же взгляде светилась молодость, красивая, гордая. Она покорила меня в первый же день знакомства, — и не могло быть иначе. Первые впечатления были так властны, что я до сих пор не расстаюсь с иллюзиями, мне все хочется думать, что у природы, когда она творила эту девушку, был какой-то широкий, изумительный замысел. Голос Ариадны, ее шаги, шляпка и даже отпечатки ее ножек на песчаном берегу, где она удила пескарей, вызывали во мне

радость, страстную жажду жизни. По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу. Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные, милые свойства. Положим, понадобилась ей новая лошадь, а денег нет, — ну, что за беда? Можно продать что-нибудь или заложить, а если приказчик божится, что ничего нельзя ни продать, ни заложить, то можно содрать с флигелей железные крыши и спустить их на фабрику или в самую горячую пору погнать рабочих лошадей на базар и продать там за бесценок. Эти необузданные желания порой приводили в отчаяние всю усадьбу, но выражала она их с таким изяществом, что ей в конце концов все прощалось и все позволялось, как богине или жене Цезаря. Любовь моя была трогательна, и ее скоро все заметили: и мой отец, и соседи, и мужики. И все мне сочувствовали. Когда, случалось, я угощал рабочих водкой, то они кланялись и говорили:

— Дай бог вам жениться на котловичевой барышне.

И сама Ариадна знала, что я ее люблю. Она часто приезжала к нам верхом или на шарабане и проводила иногда целые дни со мною и с отцом. С моим стариком она подружилась, и он даже научил ее кататься на велосипеде, — это было его любимое развлечение. Помню, как однажды вечером они собрались кататься и я помогал ей сесть на велосипед, и в это время она была так хороша, что мне казалось, будто я, прикасаясь к ней, обжигал себе руки, я дрожал от восторга, и когда они оба, старик и она, красивые, стройные, покатали рядом по шоссе, встречная вороная лошадь, на которой ехал приказчик, бросилась в сторону, и мне показалось, что она бросилась оттого, что была тоже поражена красотой. Моя любовь, мое поклонение трогали Ариадну, умиляли ее, и ей страстно хотелось быть тоже очарованною, как я, и отвечать мне тоже любовью. Ведь это так поэтично!

Но любить по-настоящему, как я, она не могла, так как была холодна и уже достаточно испорчена. В ней

уже сидел бес, который день и ночь шептал ей, что она очаровательна, божественна, и она, определенно не зная, для чего, собственно, она создана и для чего ей дана жизнь, воображала себя в будущем не иначе, как очень богатою и знатною, ей грезились балы, скачки, ливреи, роскошная гостиная, свой салон и целый рой графов, князей, посланников, знаменитых художников и артистов, и все это поклоняется ей и восхищается ее красотой и туалетами... Эта жажда власти и личных успехов и эти постоянные мысли все в одном направлении расхолаживают людей, и Ариадна была холодна: и ко мне, и к природе, и к музыке. Время между тем шло, а посланников все не было, Ариадна продолжала жить у своего брата-спирита, дела становились все хуже, так что уже ей не на что было покупать себе платья и шляпки и приходилось хитрить и изворачиваться, чтобы скрывать свою бедность.

Как нарочно, когда она еще жила в Москве у тетки, к ней сватался некий князь Мактуев, человек богатый, но совершенно ничтожный. Она отказала ему наотрез. Но теперь иногда ее мучил червь раскаяния: зачем отказала. Как наш мужик дует с отвращением на квас с тараканами и все-таки пьет, так и она брезгливо морщилась при воспоминании о князе и все-таки говорила мне:

— Что ни говорите, а в титуле есть что-то необъяснимое, обаятельное...

Она мечтала о титуле, о блеске, но в то же время ей не хотелось упустить и меня. Как там ни мечтай о посланниках, а все же сердце не камень и жаль бывает своей молодости. Ариадна старалась влюбиться, делала вид, что любит, и даже клялась мне в любви. Но я человек нервный, чуткий; когда меня любят, то я чувствую это даже на расстоянии, без уверений и клятв, тут же веяло на меня холодом, и когда она говорила мне о любви, то мне казалось, что я слышу пение металлического соловья. Ариадна сама чувствовала, что у нее не хватает порошу, ей было досадно, и я не раз видел, как она плакала. А то, можете себе представить, она вдруг обняла меня порывисто и поцеловала, — это произошло вечером, на берегу, — и я видел по глазам, что она меня не любит, а обняла просто из любопытства, чтобы испытать себя: что, мол, из этого выйдет.

И мне сделалось страшно. Я взял ее за руки и проговорил в отчаянии:

— Эти ласки без любви причиняют мне страдание!

— Какой вы... чудак! — сказала она с досадой и отошла.

По всей вероятности, прошел бы еще год-два, и я женился бы на ней, тем и кончилась бы эта история, но судьбе угодно было устроить наш роман по-иному. Случилось так, что на нашем горизонте появилась новая личность. К брату Ариадны приехал погостить его университетский товарищ Лубков, Михаил Иванович, милый человек, про которого кучера и лакеи говорили: «За-а-нятный господин!» Этак среднего роста, тощенький, плешивый, лицо, как у доброго буржуа, не интересное, но благообразное, бледное, с жесткими холеными усами, на шее гусиная кожа с пупырышками, большой кадык. Носил он рiпсе-пез на широкой черной тесьме, картавил, не выговаривал ни *p*, ни *л*, так что, например, слово «сделал» у него выходило так: сдевав. Он был всегда весел, все ему было смешно. Женился он как-то необыкновенно глупо, двадцати лет, получил в приданое два дома в Москве, под Девичьим, занялся ремонтом и постройкой бани, разорился в пух, и теперь его жена и четверо детей жили в «Восточных номерах», терпели нужду, и он должен был содержать их, — и это ему было смешно. Ему было тридцать шесть лет, а жене его уже сорок два, — и это тоже было смешно. Мать его, чванная, надутая особа с дворянскими претензиями, презирала его жену и жила отдельно с целой оравой собак и кошек, и он должен был выдавать ей особо по семьдесят пять рублей в месяц; и сам он был человек со вкусом, любил позавтракать в «Славянском базаре» и пообедать в «Эрмитаже»; денег нужно было очень много, но дядя выдавал ему только по две тысячи в год, этого не хватало, и он по целым дням бегал по Москве, как говорится, высунув язык, и искал, где бы перехватить займы, — и это тоже было смешно. Приехал он к Котловичу, как говорил, для того, чтобы отдохнуть на лоне природы от семейной жизни. За обедом, за ужином, на прогулках он говорил нам про свою жену, про мать, про кредиторов, судебных приставов и смеялся над ними; смеялся над собой и уверял, что благодаря этой способности брать займы он приобрел много при-

ятных знакомств. Смеялся он не переставая, и мы тоже смеялись. При нем и время мы стали проводить иначе. Я был склонен больше к тихим, так сказать идиллическим удовольствиям: любил ужение рыбы, вечерние прогулки, собиранье грибов; Лубков же предпочитал пикники, ракеты, охоту с гончими. Он раза три в неделю затевал пикники, и Ариадна с серьезным, вдохновенным лицом записывала на бумажке устриц, шампанского, конфет и посылала меня в Москву, конечно, не спрашивая, есть ли у меня деньги. А на пикниках тосты, смех и опять жизнерадостные рассказы о том, как стара жена, какие у матери жирные собачки, какие милые люди кредиторы...

Лубков любил природу, но смотрел на нее как на нечто давно уже известное, притом по существу стоящее неизмеримо ниже его и созданное только для его удовольствия. Бывало, остановится перед каким-нибудь великолепным пейзажем и скажет: «Хорошо бы здесь чайку попить!» Однажды, увидев Ариадну, которая вдали шла с зонтиком, он кивнул на нее и сказал:

— Она худа, и это мне нравится. Я не люблю полных.

Меня это покорило. Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал:

— Что же в том дурного, что я люблю худых и не люблю полных?

Я ничего ему не ответил. Потом как-то, будучи в отличном расположении и слегка навеселе, он сказал:

— Я заметил, вы Ариадне Григорьевне нравитесь. Удивляюсь вам, отчего вы зеваете.

Мне стало неловко от этих слов, и я, смущаясь, высказал ему свой взгляд на любовь и женщин.

— Не знаю, — вздохнул он. — По-моему, женщина есть женщина, мужчина есть мужчина. Пусть Ариадна Григорьевна, как вы говорите, поэтична и возвышенна, но это не значит, что она должна быть вне законов природы. Вы сами видите, она уже в таком возрасте, когда ей нужен муж или любовник. Я уважаю женщин не меньше вашего, но думаю, что известные отношения не исключают поэзии. Поэзия сама по себе, а любовник сам по себе. Все равно как в сельском хозяйстве:

красота природы сама по себе, а доход с лесов и полей сам по себе.

Когда я и Ариадна удили пескарей, Лубков лежал тут же на песке и подшучивал надо мной или учил меня, как жить.

— Удивляюсь, сударь, как это вы можете жить без романа, — говорил он. — Вы молоды, красивы, интересны, — одним словом, мужчина хоть куда, а живете по-монашески. Ох, уж эти мне старики в двадцать восемь лет! Я старше вас почти на десять лет, а кто из нас моложе? Ариадна Григорьевна, кто?

— Конечно, вы, — отвечала ему Ариадна.

И когда ему надоедало наше молчание и то внимание, с каким мы глядели на поплавки, он уходил в дом, а она говорила, глядя на меня сердито:

— В самом деле, вы не мужчина, а какая-то, прости господи, размазня. Мужчина должен увлекаться, безумствовать, делать ошибки, страдать! Женщина простит вам и дерзость и наглость, но она никогда не простит этой вашей рассудительности.

Она не на шутку сердилась и продолжала:

— Чтобы иметь успех, надо быть решительным и смелым. Лубков не так красив, как вы, но он интереснее вас и всегда будет иметь успех у женщин, потому что он не похож на вас, он мужчина...

И даже какое-то ожесточение слышалось в ее голосе. Однажды за ужином она, не обращая ко мне, стала говорить о том, что если бы она была мужчиной, то не кисла бы в деревне, а поехала бы путешествовать, жила бы зимой где-нибудь за границей, например в Италии. О, Италия! Тут отец мой невольно подлил масла в огонь; он долго рассказывал про Италию, как там хорошо, какая чудная природа, какие музеи! У Ариадны вдруг загорелось желание ехать в Италию. Она даже кулаком по столу ударила, и глаза у ней засверкали: ехать!

И начались затем разговоры, как хорошо будет в Италии, — ах, Италия, ах да ох, — и так каждый день, и когда Ариадна глядела мне через плечо, то по ее холодному и упрямому выражению я видел, что в своих мечтах она уже покорила Италию со всеми ее салонами, знатными иностранцами и туристами и что удержать ее уже невозможно. Я советовал обождать немного, отло-

жить поездку на год-два, но она брезгливо морщилась и говорила:

— Вы рассудительны, как старая баба.

Лубков же был за поездку. Он говорил, что это обойдется очень дешево и что он тоже с удовольствием поедет в Италию и отдохнет там от семейной жизни. Я, каюсь, вел себя наивно, как гимназист. Не из ревности, а из предчувствия чего-то страшного, необычайного, я старался, когда было возможно, не оставлять их вдвоем, и они подшучивали надо мной; например, когда я входил, делали вид, что только что целовались и т. п.

Но вот в одно прекрасное утро является ко мне ее пухлый, белый, брат-спирит и выражает желание поговорить со мной наедине. Это был человек без воли; несмотря на воспитание и деликатность, он никак не мог удержаться, чтобы не прочесть чужого письма, если оно лежало перед ним на столе. И теперь в разговоре он признался, что нечаянно прочел письмо Лубкова к Ариадне.

— Из этого письма я узнал, что она в скором времени уезжает за границу. Милый друг, я очень взволнован! Объясните мне бога ради, я ничего не понимаю!

Когда он говорил это, то тяжело дышал, дышал мне прямо в лицо, и от него пахло вареной говядиной.

— Извините, я посвящаю вас в тайны этого письма, — продолжал он, — но вы друг Ариадны, она вас уважает! Быть может, вам известно что-нибудь. Она хочет уехать, но с кем? Господин Лубков тоже собирается с ней ехать. Извините, но это даже странно со стороны господина Лубкова. Он — женатый человек, имеет детей, а между тем объясняется в любви, пишет Ариадне *ты*. Извините, но это странно!

Я похолодел, руки и ноги у меня онемели, и я почувствовал в груди боль, как будто положил туда трехугольный камень. Котлович в изнеможении опустился в кресло, и руки у него повисли, как плети.

— Что же я могу сделать? — спросил я.

— Внушить ей, убедить... Посудите: что ей Лубков? Пара ли он ей? О боже, как это ужасно, как ужасно! — продолжал он, хватая себя за голову. — У нее такие чудесные партии, князь Мактуев и... и другие. Князь обожает ее, и не дальше как в среду на прошлой неделе его покойный дед Иларийон положительно, как дважды

два, подтверждал, что Ариадна будет его женой. Положительно! Дед Иларион уже мертв, но это изумительно умный человек. Дух его мы вызываем каждый день.

После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал пять писем и все изорвал в клочки, потом рыдал в риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ не простившись.

Конечно, женщина есть женщина и мужчина есть мужчина, но неужели все это так же просто в наше время, как было до потопа, и неужели я, культурный человек, одаренный сложною духовною организацией, должен объяснять свое сильное влечение к женщине только тем, что формы тела у нее иные, чем у меня? О, как бы это было ужасно! Мне хочется думать, что борющийся с природой человеческий гений боролся и с физической любовью как с врагом, и что если он и не победил ее, то все же удалось ему опутать ее сетью иллюзий братства и любви; и для меня, по крайней мере, это уже не просто отправление моего животного организма, как у собаки или лягушки, а настоящая любовь, и каждое объятие бывает одухотворено чистым сердечным порывом и уважением к женщине. В самом деле, отвращение к животному инстинкту воспитывалось веками в сотнях поколений, оно унаследовано мною с кровью и составляет часть моего существа, и если я теперь поэтизирую любовь, то не так же ли это естественно и необходимо в наше время, как то, что мои ушные раковины неподвижны и что я не покрыт шерстью. Мне кажется, так мыслит большинство культурных людей, так как в настоящее время отсутствие в любви нравственного и поэтического элемента третируется уже как явление атавизма; говорят, что оно есть симптом вырождения, многих помешательств. Правда, поэтизируя любовь, мы предполагаем в тех, кого любим, достоинства, каких у них часто не бывает, ну, а это служит для нас источником постоянных ошибок и постоянных страданий. Но уж лучше, по-моему, пусть будет так, то есть лучше страдать, чем успокаивать себя на том, что женщина есть женщина, а мужчина есть мужчина.

В Тифлисе я получил от отца письмо. Он писал, что Ариадна Григорьевна такого-то числа отбыла за границу с намерением прожить там всю зиму. Через месяц я вернулся домой. Была уже осень. Каждую неделю Ари-

адна присылала моему отцу письма на душистой бумаге, очень интересные, написанные прекрасным литературным языком. Я того мнения, что каждая женщина может быть писательницей. Ариадна очень подробно описывала, как ей нелегко было помириться с своей теткой и выпросить у нее на дорогу тысячу рублей и как долго она отыскивала в Москве одну свою дальнюю родственницу, старушку, чтобы уговорить ее ехать вместе. Это излишество подробностей очень уж отдавало сочиненностью, и я понял, конечно, что никакой у нее спутницы не было. Немного погодя и я получил от нее письмо, тоже душистое и литературное. Она писала, что соскучилась по мне, по моим красивым, умным, влюбленным глазам, дружески упрекала, что я гублю свою молодость, кисну в деревне в то время, как мог бы, подобно ей, жить в раю, под пальмами, вдыхать в себя аромат апельсиновых деревьев. И подписалась так: «брошенная вами Ариадна». Потом дня через два другое письмо в том же роде и подпись «забытая вами». У меня мутилось в голове. Любил я ее страстно, снилась она мне каждую ночь, а тут еще «брошенная», «забытая» — к чему это? для чего? — а тут еще деревенская скука, длинные вечера, тягучие мысли насчет Лубкова... Неизвестность мучила меня, отравляла мне дни и ночи, стало невыносимо. Я не выдержал и поехал.

Ариадна звала меня в Аббацию. Я приехал туда в ясный, теплый день после дождя, капли которого еще висели на деревьях и остановился в том же громадном, похожем на казарму *dépendanc'e*, где жили Ариадна и Лубков. Их не было дома. Я отправился в здешний парк, побродил по аллеям, потом сел. Прошел мимо австрийский генерал, заложив руки назад, с такими же красными лампасами, какие носят наши генералы. Провезли в колясочке младенца, и колеса визжали по сырому песку. Прошел дряхлый старик с желтухой, толпа англичанок, ксендз, потом опять австрийский генерал. Поплелись к будке военные музыканты, только что приехавшие из Фиуме, со сверкающими трубами, заиграла музыка. Вы бывали когда-нибудь в Аббации? Это грязный славянский городишка с одною только улицей, которая воняет и по которой после дождя нельзя пройти без калош. Я так много и всякий раз с таким уми-

лением читал про этот рай земной, что когда я потом, подсучив брюки, осторожно переходил через узкую улицу и от скуки покупал жесткие груши у старой бабы, которая, узнав во мне русского, говорила «читирь», «давадцать», и когда я в недоумении спрашивал себя, куда же мне наконец идти и что мне тут делать, и когда мне непременно встречались русские, обманутые так же, как я, то мне становилось досадно и стыдно. Тут есть тихая бухта, по которой ходят пароходы и лодки с разноцветными парусами; отсюда видны и Фиуме, и далекие острова, покрытые лиловатою мглой, и это было бы картинно, если бы вид на бухту не загораживали отели и их *dépendance*'ы нелепой мещанской архитектуры, которыми застроили весь этот зеленый берег жадные торговцы, так что большею частью вы ничего не видите в раю, кроме окон, террас и площадок с белыми столиками и черными лакейскими фраками. Тут есть парк, какой вы найдете теперь во всяком заграничном курорте. И темная, неподвижная, молчаливая зелень пальм, и ярко-желтый песок на аллеях, и ярко-зеленые скамьи, и блеск ревуших солдатских труб, и красные лампы генерала — все это надоедает в десять минут. А между тем вы обязаны почему-то прожить здесь десять дней, десять недель! Таскаясь поневоле по этим курортам, я все более убеждался, как неудобно и скупо живетесь сытым и богатым, как вяло и слабо воображение у них, как не смелы их вкусы и желания. И во сколько раз счастливее их те старые и молодые туристы, которые, не имея денег, чтобы жить в отелях живут где придется, любят вид моря с высоты гор, лежа на зеленой траве, ходят пешком, видят близко леса, деревни, наблюдают обычаи страны, слышат ее песни, влюбляются в ее женщин...

Пока я сидел в парке, стало темнеть, и в сумерках показалась моя Ариадна, изящная и нарядная, как принцесса; за нею шел Лубков, одетый во все новое и широкое, купленное, вероятно, в Вене.

— Что же вы сгдитесь? — говорил он. — Что я вам сдевав?

Увидев меня, она вскрикнула от радости, и если бы это было не в парке, наверное, бросилась бы мне на шею; она крепко жала мне руки и смеялась, и я тоже смеялся и едва не плакал от волнения. Начались рас-

спросы: как в деревне, что отец, видел ли я брата и проч. Она требовала, чтобы я смотрел ей в глаза, и спрашивала, помню ли я пескарей, наши маленькие ссоры, пикники...

— В сущности, как все это было хорошо, — вздохнула она. — Но мы и здесь живем не скучно. У нас есть много знакомых, мой милый, мой хороший! Завтра я представлю вас здесь одному русскому семейству. Только, пожалуйста, купите себе другую шляпу. — Она оглядела меня и поморщилась. — Аббатия не деревня, — сказала она. — Тут надо быть комильфо¹.

Потом мы пошли в ресторан. Ариадна все время смеялась, шалила и называла меня милым, хорошим, умным и точно глазам своим не верила, что я с ней. Так просидели мы часов до одиннадцати и разошлись очень довольные и ужином и друг другом. На другой день Ариадна представила меня русскому семейству: «Сын известного профессора, наш сосед по имению». Говорила она с этим семейством только об имениях и урожаях и при этом все ссылалась на меня. Ей хотелось казаться очень богатой помещицей, и, право, это ей удавалось. Держалась она превосходно, как настоящая аристократка, какою, впрочем, она и была по происхождению.

— Но какова тетя! — сказала она вдруг, глядя на меня с улыбкой. — Мы с ней немножко поссорились, и она укатила в Меран. Какова?

Потом, когда мы гуляли с ней в парке, я спросил:

— Про какую это вы тетю говорили давеча? Что еще за тетя?

— Это ложь во спасение, — рассмеялась Ариадна. — Они не должны знать, что я без спутницы. — После минутного молчания она прижалась ко мне и сказала: — Голубчик, милый, подружитесь с Лубковым! Он такой несчастный! Его мать и жена просто ужасны.

Она говорила Лубкову *вы* и, уходя спать, прощалась с ним так же, как со мной, «до завтра», и жили они в разных этажах, — это подавало мне надежду, что все вздор и никакого романа у них нет, и, встречаясь с ним, я чувствовал себя легко. И когда он однажды попросил у меня триста рублей займа, то я дал ему их с большим удовольствием.

¹ как полагается (от франц. *comme il faut*).

Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством. Я мало-помалу привык к тому, что если я войду в парк, то непременно встречу старика с желтухой, ксендза и австрийского генерала, который носил с собою колоду маленьких карт и, где только можно было, садился и раскладывал пасьянс, нервно подергивая плечами. И музыка играла все одно и то же. Дома в деревне мне бывало стыдно от мужиков, когда я в будни ездил с компанией на пикник и ловил рыбу, так и здесь мне было стыдно от лакеев, кучеров, встречаемых рабочих; мне все казалось, что они глядели на меня, думали: «Почему ты ничего не делаешь?» И этот стыд я испытывал от утра до вечера, каждый день. Странное, неприятное, монотонное время; разнообразилось оно разве только тем, что Лубков брал у меня займы то сто, то пятьдесят гульденов, и от денег вдруг оживал, как морфинист от морфия, и начинал шумно смеяться над женой, над собой или над кредиторами.

Но вот пошли дожди, стало холодно. Мы поехали в Италию, и я телеграфировал отцу, чтобы он, бога ради, прислал мне в Рим переводом рублей восемьсот. Мы останавливались в Венеции, в Болонье, во Флоренции и в каждом городе непременно попадали в дорогой отель, где с нас драли отдельно и за освещение, и за прислугу, и за отопление, и за хлеб к завтраку, и за право пообедать не в общей зале. Ели мы ужасно много. Утром нам подавали *café complet*¹. В час завтрак: мясо, рыба, какой-нибудь омлет, сыр, фрукты и вино. В шесть часов обед из восьми блюд, с длинными антрактами, в течение которых мы пили пиво и вино. В девятом часу чай. Перед полночью Арпадна объявляла, что она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку. С ней за компанию ели и мы. А в промежутках между едой мы бегали по музеям и выставкам, с постоянной мыслью, как бы не опоздать к обеду или завтраку. Я тосковал перед картинами, меня тянуло домой полежать, я утомлялся, искал глазами стула и лицемерно повторял за другими: «Какая прелесть! Сколько воздуха!» Мы, как сытые удавы, обращали внимание только на блестящие

¹ легкий завтрак с кофе (франц.).

предметы, окна магазинов гипнотизировали нас, и мы восхищались фальшивыми брошками и покупали массу ненужных, ничтожных вещей.

То же было и в Риме. Тут шел дождь, дул холодный ветер. После жирного завтрака мы поехали осматривать храм Петра, и благодаря нашей сытости и, быть может, дурной погоде он не произвел на нас никакого впечатления, и мы, уличая друг друга в равнодушии к искусству, едва не поссорились.

Пришли от отца деньги. Я отправился получать их, помню, утром. Со мной пошел и Лубков.

— Настоящее не может быть полным и счастливым, когда есть прошлое, — сказал он. — У меня от прошлого остался на шее большой багаж. Впрочем, будь деньги, все бы не беда, а то яко наг, яко благ... Верите ли, у меня осталось только восемь франков, — продолжал он, понижая голос, — между тем я должен послать жене сто и матери столько же. Да и здесь надо жить. Ариадна, точно ребенок, не хочет войти в положение и сорит деньгами, как герцогиня. Для чего она вчера купила часы? И, скажите, для чего это нам продолжать разыгрывать из себя каких-то пайнек? Ведь то, что она и я скрываем от прислуги и знакомых наши отношения, обходится нам в сутки лишних десять — пятнадцать франков, так как я занимаю отдельный номер. Для чего это?

Острый камень повернулся у меня в груди. Незвестности уже не было, все уже было ясно для меня, я весь похолодел, и тотчас же у меня явилось решение: не видеть их обоих, бежать от них, немедленно ехать домой...

— Сходиться с женщиной легко, — продолжал Лубков, — стоит только раздеть ее, а потом как все это тяжело, какая ерунда!

Когда я считал полученные деньги, он сказал:

— Если вы не дадите мне тысячу франков займа, то я должен буду погибнуть. Эти ваши деньги для меня единственный ресурс.

Я дал ему, и он тотчас же оживился и стал смеяться над своим дядей, чудачком, который не мог сохранить в тайне от жены его адреса. Придя в отель, я уложился и заплатил по счету. Оставалось проститься с Ариадной.

Я постучался к ней.

— Entrez! ¹

В ее номере был утренний беспорядок: на столе чайная посуда, недоеденная булка, яичная скорлупа; сильный, удушающий запах духов. Постель была не убрана, и было очевидно, что на ней спали двое. Сама Ариадна недавно еще встала с постели и была теперь во фланелевой блузе, непричесанная.

Я поздоровался, потом молча посидел минуту, пока она старалась привести в порядок свои волосы, и спросил, дрожа всем телом:

— Зачем... зачем вы выписали меня сюда за границу?

По-видимому, она догадалась, о чем я думаю; она взяла меня за руку и сказала:

— Я хочу, чтобы вы были тут. Вы такой чистый!

Мне стало стыдно своего волнения, своей дрожи. А вдруг еще зарыдаю! Я вышел, не сказавши больше ни слова, и час спустя уже сидел в вагоне. Всю дорогу почему-то я воображал Ариадну беременной, и она была мне противна, и все женщины, которых я видел в вагонах и на станциях, казались мне почему-то беременными и были тоже противны и жалки. Я находился в положении того жадного, страстного корыстолюбца, который вдруг открыл бы, что все его червонцы фальшивы. Чистые, грациозные образы, которые так долго лелеяло мое воображение, подогреваемое любовью, мои планы, надежды, мои воспоминания, взгляды мои на любовь и женщину — все это теперь смеялось надо мной и показывало мне язык. Ариадна, спрашивал я с ужасом, эта молодая, замечательно красивая, интеллигентная девушка, дочь сенатора, в связи с таким заурядным, неинтересным пошляком? Но почему же ей не любить Лубкова? — отвечал я себе. Чем он хуже меня? О, пусть она любит, кого ей угодно, но зачем лгать? Но с какой стати она должна быть откровенна со мной? И так далее, все в таком роде, до одурения. А в вагоне было холодно. Ехал я в первом классе, но там сидят по трое на одном диване, двойных рам нет, наружная дверь отворяется прямо в купе, — и я чувствовал себя, как в колодках, стиснутым, брошенным,

¹ Войдите! (франц.).

жалким, и ноги страшно зябли, и в то же время то и дело приходило на память, как обольстительна она была сегодня в своей блузе и с распущенными волосами и такая сильная ревность вдруг овладевала мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом.

Дома я застал сугробы и двадцатиградусный мороз. Я люблю зиму, люблю, потому что в это время дома, даже в трескучие морозы, мне бывало особенно тепло. Приятно, надевши полушубок и валенки, в ясный морозный день делать что-нибудь в саду или на дворе или читать у себя в жарко натопленной комнате, сидеть в кабинете отца перед камином, мыться в своей деревянной бане... Только вот если нет в доме матери, сестры или детей, то как-то жутко в зимние вечера, и кажутся они необыкновенно длинными и тихими. И чем теплее и уютнее, тем сильнее чувствуется это отсутствие. В ту зиму, когда я вернулся из-за границы, вечера были длинные-длинные, я сильно тосковал и от тоски не мог даже читать; днем еще туда-сюда, то снег в саду почище, то кур и телят покормишь, а по вечерам — хоть пропадай.

Прежде я не любил гостей, теперь же бывал им рад, так как знал, что непременно будет разговор об Ариадне. Часто приезжал спирит Котлович, чтобы поговорить о сестре, и иногда привозил с собою своего друга князя Мактуева, который был влюблен в Ариадну не менее моего. Сидеть в комнате Ариадны, перебирать клавиши ее пианино, смотреть в ее ноты, — для князя было уже потребностью, он не мог жить без этого, а дух деда Илариона продолжал предсказывать, что рано или поздно она будет его женой. У нас обыкновенно князь сидел подолгу, этак от завтрака до полуночи, и все молчал; молча выпивал бутылки две-три пива и только изредка, чтобы показать, что он тоже участвует в разговоре, смеялся отрывистым, печальным глуповатым смехом. Перед тем как уехать домой, он всякий раз отводил меня в сторону и говорил вполголоса:

— Когда вы видели в последний раз Ариадну Григорьевну? Здорова ли она? Я думаю, ей там не скучно?

Наступила весна. Надо было ходить на тягу, потом сеять яровые и клевер. Было грустно, но уже по-весеннему: хотелось мириться с потерей. Работая в поле и

слушая жаворонков, я спрашивал себя: не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья, не жениться ли мне без затей на простой крестьянской девушке? Как вдруг в самый разгар работ получаю письмо с итальянской маркой. И клевер, и пасека, и телята, и крестьянская девушка — все разлетелось, как дым. На этот раз Ариадна писала, что она глубоко, бесконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянул ей руку помощи, а взглянул на нее с высоты своей добродетели и покинул ее в минуту опасности. Все это было написано крупным нервным почерком, с помарками и кляксами, и видно было, что она торопилась писать и страдала. В заключение она умоляла меня приехать и спасти ее.

Опять меня сорвало с якоря и понесло. Ариадна жила в Риме. Приехал я к ней поздно вечером, и когда она увидела меня, то зарыдала и бросилась мне на шею. За зиму она несколько не изменилась и была все так же молода и прелестна. Мы вместе поужинали и потом до рассвета катались по Риму, и все время она рассказывала мне про свое житье-бытье. Я спросил, где Лубков.

— Не напоминайте мне про эту тварь! — крикнула она. — Он мне противен и гадок!

— Но ведь вы, кажется, любили его, — сказал я.

— Никогда! На первых порах он казался оригинальным и возбуждал жалость — вот и все. Он нахален, берет женщину приступом, и это привлекательно. Но не будем говорить о нем. Это печальная страница моей жизни. Он уехал в Россию за деньгами — туда ему и дорога! Я сказала, чтобы он не смел возвращаться.

Она жила уже не в отеле, а на частной квартире из двух комнат, которые убрала по своему вкусу, холодно и роскошно. После того как уехал Лубков, она задолжала своим знакомым около пяти тысяч франков, и мой приезд в самом деле был для нее спасением. Я рассчитывал увезти ее в деревню, но это мне не удалось. Она тосковала по родине, но воспоминания о пережитой бедности, о недостатках, о заржавленной крыше на доме брата вызвали в ней отвращение, дрожь, и, когда я предлагал ей ехать домой, она судорожно сжимала мне руки и говорила:

— Нет, нет! Я там умру с тоски!

Затем любовь моя вступила в свой последний фазис, в свою последнюю четверть.

— Будьте прежним дусей, любите меня немножко, — говорила Ариадна, склоняясь ко мне. — Вы угрюмы и рассудительны, боитесь отдаться порыву и все думаете о последствиях, а это скучно. Ну, прошу вас, умоляю, будьте ласковы!.. Мой чистый, мой святой, мой милый, я вас так люблю!

Я стал ее любовником. По крайней мере с месяц я был как сумасшедший, испытывая один восторг. Держать в объятиях молодое, прекрасное тело, наслаждаться им, чувствовать всякий раз, пробудившись от сна, ее теплоту и вспоминать, что она тут, она, моя Ариадна, — о, к этому не легко привыкнуть! Но я все-таки привык и мало-помалу стал относиться к своему новому положению сознательно. Прежде всего я понял, что Ариадна, как и прежде, не любила меня. Но ей хотелось любить серьезно, она боялась одиночества, а главное, я был молод, здоров, крепок, она же была чувственна, как все вообще холодные люди — и мы оба делали вид, что сошлись во взаимной страстной любви. Затем я понял кое-что и другое.

Жили мы в Риме, в Неаполе, во Флоренции, поехали было в Париж, но там нам показалось холодно, и мы вернулись в Италию. Мы всюду рекомендовались мужем и женой, богатыми помещиками, с нами охотно знакомились, и Ариадна имела большой успех. Так как она брала уроки живописи, то ее называли художницей, и, представьте, к ней это очень шло, хотя таланта не было ни малейшего. Спала она каждый день до двух, до трех часов; кофе пила и завтракала в постели. За обедом она съедала суп, лангуста, рыбу, мясо, спаржу, дичь, и потом, когда ложилась, я подавал ей в постель чего-нибудь, например, ростбифа, и она съедала его с печальным, озабоченным выражением, а проснувшись ночью, кушала яблоки и апельсины.

Главным, так сказать, основным свойством этой женщины было изумительное лукавство. Она хитрила постоянно, каждую минуту, по-видимому без всякой надобности, а как бы по инстинкту, по тем же побуждениям, по каким воробей чирикает или таракан шевелит усами. Она хитрила со мной, с лакеями, с портье, с торговцами в магазинах, со знакомыми; без крив-

лянья и ломанья не обходился ни один разговор, ни одна встреча. Нужно было войти в наш номер мужчине, — кто бы он ни был, гарсон или барон, — как она меняла взгляд, выражение, голос, и даже ее фигуры менялись. Если бы вы видели ее тогда хоть раз, то сказали бы, что более светских и более богатых людей, чем мы, нет во всей Италии. Ни одного художника и музыканта она не пропускала, чтобы не налгать ему всякого вздора по поводу его замечательного таланта.

— Вы такой талант! — говорила она сладко-певучим голосом. — С вами даже страшно. Я думаю, вы должны видеть людей насквозь.

И все это для того, чтобы нравиться, иметь успех, быть обаятельной! Она просыпалась каждое утро с единственной мыслью: «Нравиться!» И это было целью и смыслом ее жизни. Если бы я сказал ей, что на такой-то улице в таком-то доме живет человек, которому она не нравится, то это заставило бы ее серьезно страдать. Ей каждый день нужно было очаровывать, пленять, сводить с ума. То, что я был в ее власти и перед ее чарами обращался в совершенное ничтожество, доставляло ей то самое наслаждение, какое победители испытывали когда-то на турнирах. Моего унижения было недостаточно, и она еще по ночам, развалившись, как тигрица, не укрытая, — ей всегда бывало жарко, — читала письма, которые присылал ей Лубков; он умолял ее вернуться в Россию, иначе клялся обокрасть кого-нибудь или убить, чтобы только добыть денег и приехать к ней. Она ненавидела его, но его страстные, рабские письма волновали ее. О своих чарах она была необыкновенного мнения; ей казалось, что если бы где-нибудь в многолюдном собрании увидели, как хорошо она сложена и какого цвета у нее кожа, то она победила бы всю Италию, весь свет. Эти разговоры о сложении, о цвете кожи оскорбляли меня, и, заметив это, она, когда бывала сердита, чтобы досадить мне, говорила всякие пошлости и дразнила меня; и дошло до того, что однажды на даче у одной дамы она рассердилась и сказала мне:

— Если вы не перестанете надоедать мне вашими поучениями, то я сейчас же разденусь и голая лягу вот на эти цветы!

Часто, глядя, как она спит, или ест, или старается

придать своему взгляду наивное выражение, я думал: для чего же даны ей богом эта необыкновенная красота, грация, ум? Неужели для того только, чтобы валяться в постели, есть и лгать без конца? Да и была ли она умна? Она боялась трех свечей, тринадцатого числа, приходила в ужас от сглаза и дурных снов, о свободной любви и вообще свободе толковала, как старая богомолка, уверяла, что Болеслав Маркевич лучше Тургенева. Но она была дьявольски хитра и остроумна, и в обществе умела казаться очень образованным, передовым человеком.

Ей ничего не стоило даже в веселую минуту оскорбить прислугу, убить насекомое; она любила бои быков, любила читать про убийства и сердилась, когда подсудимых оправдывали.

При той жизни, какую вели я и Ариадна, нам много нужно было денег. Бедный отец высылал мне свою пенсию, все свои доходишки, занимал для меня, где только можно было, и когда он однажды ответил мне «*pop habeo*»¹, я послал ему отчаянную телеграмму, в которой умолял заложить имение. Немного погодя я попросил его взять где-нибудь денег под вторую закладную. То и другое он исполнил безропотно и выслал мне все деньги до копейки. А Ариадна презирала практику жизни, ей не было никакого дела до всего этого, и когда я, бросая тысячи франков на удовлетворение ее безумных желаний, крихтел, как старое дерево, она с легкой душой напевала «*Abbio, bella Napoli*»². Мало-помалу я охладел к ней и стал стыдиться нашей связи. Я не люблю беременности и родов, но теперь уже мечтал иногда о ребенке, который был бы хотя формальным оправданием этой нашей жизни. Чтобы не опротиветь себе окончательно, я стал посещать музеи и галереи и читать книжки, мало ел и бросил пить. Этак гоняешь себя на корде от утра до вечера, оно как будто на душе легче.

Надоел и я Ариадне. Кстати же люди, у которых она имела успех, были все средние люди, посланников и салона по-прежнему не было, денег не хватало, и это оскорбляло ее и заставляло рыдать, и она объявила

¹ не имею (лат.).

² «Прощай, прекрасный Неаполь» (итал.).

мне, наконец, что, пожалуй, она не прочь бы и в Россию. И вот мы едем. В последние месяцы перед отъездом она усердно переписывалась со своим братом, у нее, очевидно, какие-то тайные замыслы, а какие — бог весть. Мне уже надоело вникать в ее хитрости. Но мы едем не в деревню, а в Ялту, потом из Ялты на Кавказ. Теперь она может жить только в курортах, а если бы вы знали, до какой степени я ненавижу все эти курорты, как в них мне бывает душно и стыдно. Мне бы теперь в деревню! Мне бы теперь работать, добывать хлеб в поте лица, искупать свои ошибки. Теперь я чувствую в себе избыток сил, и мне кажется, что напрягши эти силы, я выкупил бы имение в пять лет. Но вот, как видите, осложнение. Здесь, не за граница, а Россия-матушка, приходится подумать о законном браке. Конечно, увлечение уже прошло, любви прежней нет и в помине, но, как бы ни было, я обязан на ней жениться.

Шамохин, взволнованный своим рассказом, и я спустились вниз и продолжали говорить о женщинах. Было уже поздно. Оказалось, что он и я помещались в одной каюте.

— Пока только в деревнях женщина не отстает от мужчины, — говорил Шамохин, — там она так же мыслит, чувствует и так же усердно борется с природой во имя культуры, как и мужчина. Городская же буржуазная, интеллигентная женщина давно уже отстала и возвращается к своему первобытному состоянию, наповину она уже человек-зверь, и благодаря ей очень многое, что было завоевано человеческим гением, уже потеряно; женщина мало-помалу исчезает, на ее место садится первобытная самка. Эта отсталость интеллигентной женщины угрожает культуре серьезной опасностью; в своем регрессивном движении она старается увлечь за собой мужчину и задерживает его движение вперед. Это несомненно.

Я спросил: зачем обобщать, зачем по одной Ариадне судить обо всех женщинах? Уже одно стремление женщин к образованию и равноправию полов, которое я понимаю как стремление к справедливости, само по себе исключает всякое предположение о регрессивном движении. Но Шамохин едва слушал меня и недоверчиво

улыбался. Это был уже страстный, убежденный жено-ненавистник, и переубедить его было невозможно.

— Э, полноте! — перебил он. — Раз женщина видит во мне не человека, не равного себе, а самца и всю свою жизнь хлопочет только о том, чтобы понравиться мне, то есть, завладеть мной, то может ли тут быть речь о полноправии? Ох, не верьте им, они очень, очень хитры! Мы, мужчины, хлопочем насчет их свободы, но они вовсе не хотят этой свободы и только делают вид, что хотят. Ужасно хитрые, страшно хитрые!

Мне уже было скучно спорить и хотелось спать. Я повернулся лицом к стенке.

— Да-с, — слышал я, засыпая. — Да-с. А всему виной наше воспитание, батенька. В городах все воспитание и образование женщины в своей главной сущности сводится к тому, чтобы выработать из нее человека-зверя, то есть чтобы она нравилась самцу и чтобы умела победить этого самца. Да-с, — Шамохин вздохнул. — Нужно, чтобы девочки воспитывались и учились вместе с мальчиками, чтобы те и другие были всегда вместе. Надо воспитывать женщину так, чтобы она умела, подобно мужчине, сознавать свою неправоту, а то она, по ее мнению, всегда права. Внушайте девочке с пеленок, что мужчина, прежде всего, не кавалер и не жених, а ее ближний, равный ей во всем. Приучайте ее логически мыслить, обобщать и не уверяйте ее, что ее мозг весит меньше мужского и что поэтому она может быть равнодушна к наукам, искусствам, вообще культурным задачам. Мальчишка-подмастерье, сапожник или маляр, тоже имеет мозг меньших размеров, чем взрослый мужчина, однако же участвует в общей борьбе за существование, работает, страдает. Надо также бросить эту манеру ссылаться на физиологию, на беременность и роды, так как, во-первых, женщина родит не каждый месяц, во-вторых, не все женщины рожают и, в-третьих, нормальная деревенская женщина работает в поле накануне родов — и ничего с ней не делается. Затем должно быть полнейшее равноправие в обыденной жизни. Если мужчина подает даме стул и поднимает оброненный платок, то пусть и она платит ему тем же. Я ничего не буду иметь против, если девушка из хорошего семейства поможет мне надеть пальто, или подаст мне стакан воды...

Больше я ничего не слышал, так как уснул. На другой день утром, когда мы подходили к Севастополю, была неприятная сырая погода. Покачивало. Шамохин сидел со мной в рубке, о чем-то думал и молчал. Мужчины с поднятыми воротниками пальто и дамы с бледными, заспанными лицами, когда позвонили к чаю, стали спускаться вниз. Одна дама, молодая и очень красивая, та самая, которая в Волочиске сердилась на таможенных чиновников, остановилась перед Шамохиным и сказала ему с выражением капризного избалованного ребенка:

— Жан, твою птичку укачал!

Потом, живя в Ялте, я видел, как эта красивая дама мчалась на иноходце, и за ней едва поспевали какие-то два офицера, и как она однажды утром, во фригийской шапочке и в фартучке, писала красками этюд, сидя на набережной, и большая толпа стояла поодаль и любовалась ею. Познакомился и я с ней. Она крепко-крепко пожала мне руку и, глядя на меня с восхищением, поблагодарила сладко-певучим голосом за то удовольствие, какое я доставляю ей своими сочинениями.

— Не верьте, — шепнул мне Шамохин, — она ничего вашего не читала.

Как-то перед вечером, когда я гулял по набережной, мне встретился Шамохин; в руках у него были большие свертки с закусками и фруктами.

— Князь Мактуев здесь! — сказал он радостно. — Вчера приехал с ее братом-спиритом. Теперь я понимаю, о чем она тогда переписывалась с ним! Господи, — продолжал он, глядя на небо и прижимая свертки к груди, — если у нее наладится с князем, то ведь это значит свобода, я могу уехать тогда в деревню, к отцу!

И он побежал дальше.

— Я начинаю веровать в духов! — крикнул он мне, оглядываясь. — Дух деда Илариона, кажется, напророчил правду! О, если бы!

На другой день после этой встречи я выехал из Ялты, и чем кончился роман Шамохина — мне неизвестно.

ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Рассказ художника

I

Это было шесть-семь лет тому назад, когда я жил в одном из уездов Т — ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, особенно ночью, когда все десять больших окон вдруг освещались молнией.

Обреченный судьбой на постоянную праздность, я не делал решительно ничего. По целым часам я смотрел в свои окна на небо, на птиц, на аллеи, читал все, что привозили мне с почты, спал. Иногда я уходил из дому и до позднего вечера бродил где-нибудь.

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и

переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоем. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут тоже запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже старушка. Но вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве.

А у белых каменных ворот, которые вели со двора в поле, у старинных крепких ворот со львами, стояли две девушки. Одна из них, постарше, тонкая, бледная, очень красивая, с целой копной каштановых волос на голове, с маленьким упрямым ртом, имела строгое выражение и на меня едва обратила внимание; другая же, совсем еще молоденькая — ей было семнадцать-восемнадцать лет, не больше, — тоже тонкая и бледная, с большим ртом и с большими глазами, с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо, сказала что-то по-английски и сконфузилась, и мне показалось, что и эти два милых лица мне давно уже знакомы. И я вернулся домой с таким чувством, как будто видел хороший сон.

Вскоре после этого, как-то в полдень, когда я и Белокуров гуляли около дома, неожиданно, шурша по траве, въехала во двор рессорная коляска, в которой сидела одна из тех девушек. Эта была старшая. Она приехала с подписным листом просить на погорельцев. Не глядя на нас, она очень серьезно и обстоятельно рассказала нам, сколько сгорело домов в селе Сиянове, сколько мужчин, женщин и детей осталось без крова и что намерен предпринять на первых порах погорельческий комитет, членом которого она теперь была. Давши нам подписаться, она спрятала лист и тотчас же стала прощаться.

— Вы совсем забыли нас, Петр Петрович, — сказала она Белокурову, подавая ему руку. — Приезжайте,

и если monsieur N. (она назвала мою фамилию) захочет взглянуть, как живут почитатели его таланта, и пожалует к нам, то мама и я будем очень рады.

Я поклонился.

Когда она уехала, Петр Петрович стал рассказывать. Эта девушка, по его словам, была из хорошей семьи, и звали ее Лидией Волчаниновой, а имение, в котором она жила с матерью и сестрой, так же как и село на другом берегу пруда, называлось Шелковкой. Отец ее когда-то занимал видное место в Москве и умер в чине тайного советника. Несмотря на хорошие средства, Волчаниновы жили в деревне безвыездно, лето и зиму, и Лидия была учительницей в земской школе у себя в Шелковке и получала двадцать пять рублей в месяц. Она тратила на себя только эти деньги и гордилась, что живет на собственный счет.

— Интересная семья, — сказал Белокуров. — Пожалуй, сходим к ним как-нибудь. Они будут вам очень рады.

Как-то после обеда, в один из праздников, мы вспомнили про Волчаниновых и отправились к ним в Шелковку. Они, мать и обе дочери, были дома. Мать, Екатерина Павловна, когда-то, по-видимому, красивая, теперь же сырая не по летам, больная одышкой, грустная, рассеянная, старалась занять меня разговором о живописи. Узнав от дочери, что я, быть может, приеду в Шелковку, она торопливо припомнила два-три моих пейзажа, какие видела на выставках в Москве, и теперь спрашивала, что я хотел в них выразить. Лидия, или, как ее звали дома, Лида, говорила больше с Белокуровым, чем со мной. Серьезная, не улыбаясь, она спрашивала его, почему он не служит в земстве и почему до сих пор не был ни на одном земском собрании.

— Нехорошо, Петр Петрович, — говорила она укоризненно. — Нехорошо. Стыдно.

— Правда, Лида, правда, — соглашалась мать. — Нехорошо.

— Весь наш уезд находится в руках Балагина, — продолжала Лида, обращаясь ко мне. — Сам он председатель управы, и все должности в уезде роздал своим племянникам и зятьям и делает, что хочет. Надо бороться. Молодежь должна составить из себя сильную

партию, но вы видите, какая у нас молодежь. Стыдно, Петр Петрович?

Младшая сестра, Женя, пока говорили о земстве, молчала. Она не принимала участия в серьезных разговорах, ее в семье еще не считали взрослой и, как маленькую, называли Мисюсь, потому что в детстве она называла так *мисс*, свою гувернантку. Все время она смотрела на меня с любопытством и, когда я осматривал в альбоме фотографии, объясняла мне: «Это дядя... Это крестный папа»,— и водила пальчиком по портретам и в это время по-детски касалась меня своим плечом, и я близко видел ее слабую, неразвитую грудь, тонкие плечи, косу и худенькое тело, туго стянутое поясом.

Мы играли в крокет и *lawn-tennis*, гуляли по саду, пили чай, потом долго ужинали. После громадной пустой залы с колоннами мне было как-то по себе в этом небольшом уютном доме, в котором не было на стенах олеографий и прислуге говорили «вы», и все мне казалось молодым и чистым благодаря присутствию Лиды и Мисюсь, и все дышало порядочностью. За ужином Лида опять говорила с Белокуровым о земстве, о Балагине, о школьных библиотеках. Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко,— быть может, оттого, что привыкла говорить в школе. Зато мой Петр Петрович, у которого еще со студенчества осталась манера всякий разговор сводить на спор, говорил скучно, вяло и длинно, с явным желанием казаться умным и передовым человеком. Жестикулируя, он опрокинул рукавом соусник, и на скатерти образовалась большая лужа, но, кроме меня, казалось, никто не заметил этого.

Когда мы возвращались домой, было темно и тихо.

— Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой,— сказал Белокуров и вздохнул.— Да, прекрасная, интеллигентная семья. Отстал я от хороших людей, ах как отстал! А все дела, дела! Дела!

Он говорил о том, как много приходится работать, когда хочешь стать образцовым сельским хозяином. А я думал: какой это тяжелый и ленивый малый! Он когда говорил о чем-нибудь серьезно, то с напряжением

тянул «э-э-э-э» и работал так же, как говорил, — медленно, всегда опаздывая, пропуская сроки. В его деловитость я плохо верил уже потому, что письма, которые я поручал ему отправлять на почту, он по целым неделям таскал у себя в кармане.

— Тяжелее всего, — бормотал он, идя рядом со мной, — тяжелее всего, что работаешь и ни в ком не встречаешь сочувствия. Никакого сочувствия!

II

Я стал бывать у Волчаниновых. Обыкновенно я сидел на нижней ступени террасы, меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно, и я все думал о том, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. А в это время на террасе говорили, слышался шорох платьев, перелистывали книгу. Я скоро привык к тому, что днем Лида принимала больных, раздавала книжки и часто уходила в деревню с непокрытой головой, под зонтиком, а вечером громко говорила о земстве, школах. Эта тонкая, красивая, неизменно строгая девушка с маленьким, изящно очерченным ртом всякий раз, когда начинался деловой разговор, говорила мне сухо:

— Это для вас неинтересно.

Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что она крепко верила. Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка-бурятка в рубахе и в штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин.

А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка покраснела, оставляла книгу и с оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось: например, о том, что в людской загорелась сажа или что работник поймал в пруде большую рыбу. В будни она ходила обыкновенно в светлой рубашечке и в темно-синей юбке. Мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и, когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала всламы, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие, слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением.

В одно из воскресений, в конце июля, я пришел к Волчаниновым утром, часов в девять. Я ходил по парку, держась подальше от дома, и отыскивал белые грибы, которых в то лето было очень много, и ставил около них метки, чтобы потом подобрать их вместе с Женей. Дул теплый ветер. Я видел, как Женя и ее мать, обе в светлых праздничных платьях, прошли из церкви домой и Женя придерживала от ветра шляпу. Потом я слышал, как на террасе пили чай.

Для меня, человека беззаботного, ищущего оправдания для своей постоянной праздности, эти летние праздничные утра в наших усадьбах всегда были необыкновенно привлекательны. Когда зеленый сад, еще влажный от росы, весь сияет от солнца и кажется счастливым, когда около дома пахнет резедой и олеандром, молодежь только что вернулась из церкви и пьет чай в саду, и когда все так мило одеты и веселы, и когда знаешь, что все эти здоровые, сытые, красивые люди весь длинный день ничего не будут делать, то хочется, чтобы вся жизнь была такою. И теперь я думал то же самое и ходил по саду, готовый ходить так без дела и без цели весь день, все лето.

Пришла Женя с корзиной; у нее было такое выражение, как будто она знала или предчувствовала, что найдет меня в саду. Мы подбирали грибы и говорили, и когда она спрашивала о чем-нибудь, то заходила вперед, чтобы видеть мое лицо.

— Вчера у нас в деревне произошло чудо,— сказала она.— Хромая Пелагея была больна целый год, никакие доктора и лекарства не помогали, а вчера старуха пошептала, и прошло.

— Это неважно,— сказал я.— Не следует искать чудес только около больных и старых. Разве здоровье не чудо? А сама жизнь? Что непонятно, то и есть чудо.

— А вам не страшно то, что непонятно?

— Нет. К явлениям, которых я не понимаю, я подхожу бодро и не подчиняюсь им. Я выше их. Человек должен сознавать себя выше львов, тигров, звезд, выше всего в природе, даже выше того, что непонятно и кажется чудесным, иначе он не человек, а мышь, которая всего боится.

Женя думала, что я, как художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю. Ей хотелось, чтобы я ввел ее в область вечного и прекрасного, в этот высший свет, в котором, по ее мнению, я был своим человеком, и она говорила со мной о боге, о вечной жизни, о чудесном. И я, не допуская, что я и мое воображение после смерти погибнем навеки, отвечал: «Да, люди бессмертны», «Да, нас ожидает вечная жизнь». А она слушала, верила и не требовала доказательств.

Когда мы шли к дому, она вдруг остановилась и сказала:

— Наша Лида замечательный человек. Не правда ли? Я ее горячо люблю и могла бы каждую минуту пожертвовать для нее жизнью. Но скажите,— Женя дотронулась до моего рукава пальцем,— скажите, почему вы с ней все спорите? Почему вы раздражены?

— Потому что она не права.

Женя отрицательно покачала головой, и слезы показались у нее на глазах!

— Как это непонятно!— проговорила она.

В это время Лида только что вернулась откуда-то и, стоя около крыльца с хлыстом в руках, стройная, красивая, освещенная солнцем, приказывала что-то ра-

ботнику. Торопясь и громко разговаривая, она приняла двух-трех больных, потом с деловым, озабоченным видом ходила по комнатам, отворяя то один шкаф, то другой, уходила в мезонин; ее долго искали и звали обедать, и пришла она, когда мы уже съели суп. Все эти мелкие подробности я почему-то помню и люблю, и весь этот день живо помню, хотя не произошло ничего особенного. После обеда Женя читала, лежа в глубоком кресле, а я сидел на нижней ступени террасы. Мы молчали. Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий, мелкий дождь. Было жарко, ветер давно уже стих, и казалось, что этот день никогда не кончится. К нам на террасу вышла Екатерина Павловна, заспанная, с веером.

— О мама,— сказал Женя, целуя у нее руку,— тебе вредно спать днем.

Они обожали друг друга. Когда одна уходила в сад, то другая уже стояла на террасе и, глядя на деревья, окликала: «Ау, Женя!» или: «Мамочка, где ты?» Они всегда вместе молились, и обе одинаково верили и хорошо понимали друг друга, даже когда молчали. И к людям они относились одинаково. Екатерина Павловна также скоро привыкла и привязалась ко мне и, когда я не появлялся два-три дня, присылала узнать, здоров ли я. На мои этюды она смотрела тоже с восхищением, и с такою же болтливостью и так же откровенно, как Мисюсь, рассказывала мне, что случилось, и часто поверяла мне свои домашние тайны.

Она благоговела перед своей старшей дочерью. Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном: она жила своею особенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте.

— Наша Лида замечательный человек, — говорила часто мать. — Не правда ли?

И теперь, пока накрапывал дождь, мы говорили о Лиде.

— Она замечательный человек, — сказала мать и прибавила вполголоса тоном заговорщицы, испуганно оглядываясь: — Таких днем с огнем поискать, хотя знаете ли, я начинаю немножко беспокоиться. Школа аптечки, книжки — все это хорошо, но зачем крайности?

Ведь ей уже двадцать четвертый год, пора о себе серьезно подумать. Этак за книжками и аптечками и не увидишь, как жизнь пройдет... Замуж нужно.

Женя, бледная от чтения, с помятою прической, приподняла голову и сказала как бы про себя, глядя на мать:

— Мамочка, все зависит от воли божией!

И опять погрузилась в чтение.

Пришел Белокуров в поддевке и в вышитой сорочке. Мы играли в крокет и lawn-tennis, потом, когда потемнело, долго ужинали, и Лида опять говорила о школах и о Балагине, который забрал в свои руки весь уезд. Уходя в этот вечер от Волчаниновых, я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня, с грустным сознанием, что все кончается на этом свете, как бы ни было длинно. Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может, что она провела со мной весь день от утра до вечера, я почувствовал, что без нее мне как будто скучно и что вся эта милая семья близка мне; и в первый раз за все лето мне захотелось писать.

— Скажите, отчего вы живете так скучно, так не колоритно?— спросил я у Белокурова, идя с ним домой.— Моя жизнь скучна, тяжела, однообразна, потому что я художник, я странный человек, я издерган с юных дней завистью, недовольством собой, неверием в свое дело, я всегда беден, я бродяга, но вы-то, вы, здоровый, нормальный человек, помещик, барин,— отчего вы живете так неинтересно, так мало берете от жизни? Отчего, например, вы до сих пор не влюбились в Лиду или Женю?

— Вы забываете, что я люблю другую женщину,— ответил Белокуров.

Это он говорил про свою подругу, Любовь Ивановну, жившую с ним вместе во флигеле. Я каждый день видел, как эта дама, очень полная, пухлая, важная, похожая на откормленную гусыню, гуляла по саду, в русском костюме с бусами, всегда под зонтиком, и прислуга то и дело звала ее то кушать, то чай пить. Года три назад она наняла один из флигелей под дачу, да так и осталась жить у Белокурова, по-видимому, навсегда. Она была старше его лет на десять и управляла им строго, так что, отлучаясь из дому, он должен был спрашивать у нее позволения. Она часто рыдала мужским голосом,

и тогда я посылая сказать ей, что если она не перестанет, то я съеду с квартиры; и она переставала.

Когда мы пришли домой, Белокуров сел на диван и нахмурился в раздумье, а я стал ходить по зале, испытывая тихое волнение, точно влюбленный. Мне хотелось говорить про Волчаниновых.

— Лида может полюбить только земца, увлеченного так же, как она, больницами и школами,— сказал я. — О, ради такой девушки можно не только стать земцем, но даже истаскать, как в сказке, железные башмаки. А Мисюсь? Какая прелесть эта Мисюсь!

Белокуров длинно, растягивая «э-э-э-э...», заговорил о болезни века — пессимизме. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я спорил с ним. Сотни верст пустынной, однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такого уныния, как один человек, когда он сидит, говорит, и неизвестно, когда он уйдет.

— Дело не в пессимизме и не в оптимизме,— сказал я раздраженно,— а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума.

Белокуров принял это на свой счет, обиделся и ушел.

III

— В Малозёмове гостит князь, тебе кланяется, — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. — Рассказывал много интересного... Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малозёмове, но говорит: мало надежды. — И, обратясь ко мне, она сказала:— Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно.

Я почувствовал раздражение.

— Почему же не интересно?— спросил я и пожал плечами.— Вам неудобно знать мое мнение, но уверяю вас, этот вопрос меня живо интересуется.

— Да?

— Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малозёмове вовсе не нужен.

Мое раздражение передалось и ей; она посмотрела на меня, прищурилась глазами, и спросила:

— Что же нужно? Пейзажи?

— И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно.

Она кончила снимать перчатки и развернула газету,

которую только что привезли с почты; через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя:

— На прошлой неделе умерла от родов Анна, а если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет.

— Я имею на этот счет очень определенное убеждение, уверяю вас,— ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать.— По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки, при существующих условиях, служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья— вот вам мое убеждение.

Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль:

— Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся, рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в вони; их дети, подрастая, начинают ту же музыку, и так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных— только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а, напротив, еще больше порабощаете, так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину.

— Я спорить с вами не стану,— сказала Лида, опуская газету.— Я уже это слышала. Скажу вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. Правда, мы не спасаем человечества и, быть может, во многом ошибаемся, но

мы делаем то, что можем, и мы — правы. Самая высокая и святая задача культурного человека — это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь.

— Правда, Лида, правда,— сказала мать.

В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное; и никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась: правда, Лида, правда.

— Мужичья грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада,— сказал я.— Вы не даете ничего, вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду.

— А, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь! — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их.

— Нужно освободить людей от тяжелого физического труда,— сказал я.— Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности — в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый, животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая, в сущности, насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, наука, искусства, а не эти пустяки.

— Освободить от труда! — усмехнулась Лида.— Разве это возможно?

— Да. Возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, ра-

ботаем только три часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд, мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись голода, холода и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов,— сколько свободного времени у нас остается в конце концов! Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусствам. Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни, и — я уверен в этом — правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти и даже от самой смерти.

— Вы, однако, себе противоречите,— сказала Лида.— Вы говорите — наука, наука, а сами отрицаете грамотность.

— Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках да изредка книжки, которых не понимает, — такая грамотность держится у нас со времен Рюрика, гоголевский Петрушка давно уже читает, между тем деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты.

— Вы и медицину отрицаете.

— Да. Она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их. Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину — физический труд, и тогда не будет болезней. Не признаю я науку, которая лечит,— продолжал я возбужденно.— Науки и искусства, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему,— они ищут правды и смысла жизни, ищут бога, душу, а когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия

ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся, между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным, и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду... Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!

— Мисюська, выйди, — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки.

Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла.

— Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие, — сказала Лида. — Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.

— Правда, Лида, правда, — согласилась мать.

— Вы угрожаете, что не станете работать, — продолжала Лида. — Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся, так как самую несовершенную из всех библиотечек и аптек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей на свете. — И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном: — Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши.

Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и, чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой.

IV

На дворе было тихо; деревня по ту сторону пруда уже спала, не было видно ни одного огонька, и только

на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя неподвижно, поджидая меня, чтобы проводить.

— В деревне все спят,— сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза.— И кабатчик и конокрады спокойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим.

Была грустная августовская ночь,— грустная потому, что уже пахло осенью; покрытая багровым облаком, восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее.

— Мне кажется, вы правы,— сказала она, дрожа от ночной сырости.— Если бы люди, все сообща, могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все.

— Конечно. Мы высшие существа, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет,— человечество вырождается, и от гения не останется и следа.

Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку.

— Спокойной ночи,— проговорила она дрожа; плечи ее были покрыты только одною рубашечкой, и она сжалась от холода.— Приходите завтра.

Мне стало жутко от мыслей, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми; и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды.

— Побудьте со мной еще минуту,— сказал я.— Прошу вас.

Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно прекрасны были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги! А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум, меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому, что она мыслила иначе, чем строгая, красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник, я

победил ее сердце своим талантом, и мне страстно хотелось писать только для нее, и я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мною будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, эту природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно одиноким и ненужным.

— Оставайтесь еще минуту,— попросил я.— Умоляю вас.

Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи; она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его, и в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки.

— До завтра! — прошептала она и осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня.— Мы не имеем тайн друг от друга, я должна сейчас рассказать все маме и сестре... Это так страшно! Мама ничего, мама любит вас, но Лида!

Она побежала к воротам.

— Прощайте! — крикнула она.

И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина глядел на меня, как глазами, и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для lawn-tennis, в темноте под старым вязом, и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный зеленый — это лампы накрыли абажуром. Задвигались тени... Я был полон нежности, тишины и довольства собою, довольства, что сумел увлечься и полюбить, и в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят.

Прошло около часа. Зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки; георгины и розы в цвет-

нике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой.

Когда на другой день после обеда я пришел к Волчаниновым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнат; потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, за одной из них раздавался голос Лиды.

— Вороне где-то... бог...— говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя.— Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то... Кто там?— окликнула она вдруг, услышав мои шаги.

— Это я.

— А! Простите, я не могу сейчас выйти к вам, я занимаюсь с Дашей.

— Екатерина Павловна в саду?

— Нет, она с сестрой уехали сегодня утром к тете, в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу...— добавила она, помолчав.— Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?

Я вышел в переднюю, и ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось:

— Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

И я ушел из усадьбы тою же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке: сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее... Тут догнал меня мальчишка и подал записку. «Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами,— прочел я.— Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастья, простите меня. Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!»

Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь... На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно

всего, что я говорил у Волчаниновых, и по-прежнему стал скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург.

Больше я уже не видел Волчаниновых. Как-то недавно, едуци в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашиими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое, поменьше, на имя Любви Ивановны. Про Волчаниновых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей: мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах «прокатили» Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где.

Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне то зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут и что мы встретимся...

Мисюсь, где ты?

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, — кто знает? Я не

естественник, и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищуривал глаза и, подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определено: запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах и просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах,— ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло,— и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице,— знаете, маленьком лице, как у хорька,— он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать хорошие отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал это своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ все мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иванович, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я,— продолжал Буркин,— в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и— ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле,— пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом:

— Много уж *их* нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забралась вора, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело.

— Очень уж шумят у нас в классах,— говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжелому чувству.— Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленка, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий

смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая,— одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, все поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченьясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс и еще и всех нас очаровала,— всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить,— тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать...— пояснила свою мысль директорша.— Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что

совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко. — Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уже перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было. Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры» или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внешние играет большую роль. Все — и товарищи и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что

ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была не дурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно,— голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик,— проговорил Иван Иваныч.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и все ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится,— говорил он мне со слабой кривой улыбочкой,— и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... все это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать?— говорю ему.— Женитесь, вот и все.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, все откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; все взвешивал предстоящие обязанности и ответственность и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische

Scandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю,— говорил он нам, пожимая плечами,— не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чиновралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидить и смотреть.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому,— это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу,— выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем — и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы, — кричит она, — вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня

— Позвольте, что же это такое?— спросил он.— Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного?— сказал я.— И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно?— крикнул он, изумляясь моему спокойствию.— Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он все время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу,— проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заspanное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке,— напротив же, все время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы ка-

таетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же?— спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде— это ужасно!

— Что же, собственно, вам угодно?

— Мне угодно только одно— предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы— человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так маникируете, ох, как маникируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет по попечителя... Что ж хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела!— сказал Коваленко и побагровел.— А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать,— сказал он.— И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей?— спросил Коваленко, глядя на него со злобой.— Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно,— сказал он, выходя из передней на площадку лестницы.— Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и, чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах... Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно, встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем: ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, — ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру, и кончится все это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, залихватным «ха-ха-ха» завершилось все: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с барином что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его, во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки

только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные, постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, — чувства, похожего на то, когда мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть, — сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и все благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля; залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть, — повторил Иван Иваныч. — А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте,

пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать, — сказал Буркин. — До завтра.

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит, — сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут, — проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок, — и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, — сказал учитель. — Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч все ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.

КРЫЖОВНИК

Еще с раннего утра все небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю, и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия,— сказал Буркин,— вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь,— сказал Буркин. — Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли все по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белою купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понутив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неуютно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела веялка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом,— сказал он улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевою водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Иван Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа,— говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал! Пелагея,— обратился он к горничной,— дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти по-

мыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся,— говорил он, раздеваясь.— Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то все некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь... — проговорил Иван Иванович, значительно глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся...— повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и все нырял, стараясь достать дно. «Ах, боже мой...»— повторял он наслаждаясь.— «Ах боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он все плавал и нырял.

— Ах, боже мой... — говорил он. — Ах, господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не одни только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иванович, и другой — Николай Иванович, года на два помоложе. Я по-

шел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьешко. После его смерти именьешко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, все равно как крестьянские дети, дни и ночи проводил в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он все сидел на одном месте, писал все те же бумаги и думал все об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запретить себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни

только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и луга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворешни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он, бывало. — Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо, и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, с) огород, d) крыжовник. Жил он скупой: недоедал, недопивал, одевался бог знает как, словно нищий, и все копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он все читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Все с тою же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупой, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни, да года через три взяла и отдала богу душу. И, конечно, брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудачком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив, и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его

отыскали, и все беспокоится: в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы, — сказал Буркин.

— После смерти жены, — продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты, — брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но все же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился; он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, посажены рядами елки, — и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, — того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уже обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важ-

ностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и косторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат «ура», и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает все, что захочу.

И все это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторял: «мы, дворяне», «я как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и все повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого

осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по яголке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и все обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив,— продолжал Иван Иванович, вставая.— Я тоже за обедом и на охоте поучал как жить, как веро-

вать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не все сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затащит его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастлирое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я не способен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досажую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константинович! — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И все это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах

гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где все — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами — говорило, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.

— Господи, прости нас, грешных! — проговорил он и укрывшись с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и все никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

ИОНЫЧ

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных, как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худошавая, миловидная дама в *ripse-pez*, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком — и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник — это было вознесение, — после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и все время напевал:

Когда еще я не пил слез из чаши бытия...

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что за люди.

— Здравствуйте пожалуйста, — сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. — Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, — продолжал он, представляя доктора жене, — я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

— Садитесь здесь, — говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. — Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

— Ах ты, цыпка, баловница... — нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. — Вы очень кстати пожаловали, — обратился он опять к гостю, — моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

— Жанчик, — сказала Вера Иосифовна мужу, — dites que J'op nous donne du thé¹.

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было

¹ скажи, чтобы нам дали чаю (франц.).

еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера, мало-помалу, сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

— Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: «Мороз крепчал...» Окна были отворены настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника, — читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли все такие хорошие, покойные мысли, — не хотелось вставать...

— Недурственно... — тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

— Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали «Лучинушку», которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

— Вы печатаете свои произведения в журналах? — спросил у Веры Иосифовны Старцев.

— Нет, — отвечала она, — я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? — пояснила она. — Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

— А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь, — сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла все по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело все: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и все сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но все же культурные звуки, — было так приятно, так ново...

— Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, — сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. — Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружали ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слышали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

— Прекрасно! превосходно!

— Прекрасно! — сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. — Вы где учились музыке? — спросил он у Екатерины Ивановны. — В консерватории?

— Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

— Вы кончили курс в здешней гимназии?

— О нет! — ответила за нее Вера Иосифовна. — Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

— А все-таки в консерваторию я поеду, — сказала Екатерина Ивановна.

— Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

— Нет, поеду! Поеду! — сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризничая, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их, и все время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не все. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

— Умри, несчастная!

И все захохотали.

«Занятно», — подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил вина, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал:

Твой голос для меня, и ласковый и томный...

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

«Недурственно...» — вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев все собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом

в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться все чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла, наконец, очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шепотом, сильно волнуясь:

— Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдите в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевающая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

— Вы по три, по четыре часа играете на рояле, — говорил он, идя за ней, — потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

— Я не видел вас целую неделю, — продолжал Старцев, — а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

— Что вам угодно? — спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

— Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищала его своей свежестью, наивным вы-

ражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с — ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

— Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? — спросил он теперь. — Говорите, прошу вас

— Я читала Писемского.

— Что именно?

— «Тысяча душ», — ответила Котик. — А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

— Куда же вы? — ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. — Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом и там опять села за рояль.

«Сегодня в одиннадцать часов вечера, — прочел Старцев, — будьте на кладбище возле памятника Деметти».

«Ну, уж это совсем не умно, — подумал он, придя в себя. — При чем тут кладбище? Для чего?»

Было ясно: Котик дурачилась. Кому в самом деле придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя

в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер. Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. «У всякого свои странности, — думал он. — Котик тоже странная и — кто знает? быть может, она не шутит, придет», — и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же...» Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле: листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и нехстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот

памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдет сюда в полночь? Но Старцев ждал, и точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как, в сущности, нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг все потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, — уже было темно, как в осеннюю ночь, — потом часа полтора бродил, отыскивая переулок, где оставил своих лошадей.

— Я устал, едва держусь на ногах, — сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: «Ох, не надо бы полнеть!»

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным, делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

«А приданого они дадут, должно быть, немало», — думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии

ошеломления, точно его поили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

«Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач...»

«Ну, что ж? — думал он. — И пусть».

«К тому же, если ты женишься на ней, — продолжал кусочек, — то ее родня заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе».

«Ну, что же? — думал он. — В городе так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку...»

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он — оставаться тут ему было уже незачем — поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

— Делать нечего, — сказал Иван Петрович, — поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

— Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, — говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, — он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

— А я вчера был на кладбище, — начал Старцев. — Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

— Вы были на кладбище?

— Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

— И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска наклонилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и

он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок, и сильнее обнял.

— Довольно, — сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

— Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то все топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостинной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

— О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, — выговорил наконец Старцев, — будьте моей женой!

— Дмитрий Ионыч, — сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. — Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... — она встала и продолжала стоя, — но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой — о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся «Дмитрий Ионыч», вспомнила «Алексей Феофилактыч»), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... — у нее слезы навернулись на глазах, — я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймите...

И чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостинной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал

с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно, и самолюбие его было оскорблено, — он не ожидал отказа, — и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

— Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками и возвращался домой поздно ночью. Он пополнил, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнил, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже неглупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остзается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво

спрашивал: «Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?» А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусывать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и все, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе «поляк надутый», хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, — было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая все еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: «К просьбе мамы присоединяюсь и я. К.».

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

— А, здравствуйте пожалуйста! — встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. — Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

— Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде и в манерах было что-то новое — несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

— Сколько лет, сколько зим! — сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: — Как вы пополнели! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, — и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

«Бездарен, — думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого».

— Недурственно, — сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

«А хорошо, что я на ней не женился», — подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

— Давайте же поговорим, — сказала она, подходя к нему. — Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти

дни думала о вас,— продолжала она нервно,— я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала,— бог знает как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради бога, пойдите в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

— Как же вы поживаете? — спросила Екатерина Ивановна.

— Ничего, живем понемножку, — ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

— Я волнуюсь, — сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, — но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил, все что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

— А помните, как я провожал вас на вечер, в клуб? — сказал он. — Тогда шел дождь, было темно...

Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

— Эх! — сказал он со вздохом. — Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

— Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианист-

кой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И, конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! — повторила Екатерина Ивановна с увлечением. — Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

— Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, — продолжала она. — Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять: «А хорошо, что я тогда не женился».

Он стал прощаться.

— Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, — говорил Иван Петрович, провожая его. — Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! — сказал он, обращаясь в передней к Паве.

Пава, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

— Умри, несчастная!

Все это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил все сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Пава принес письмо от Екатерины Ивановны,

«Вы не едете к нам. Почему? — писала она. — Я боюсь, что вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что все хорошо.

Мне необходимо поговорить с вами. Ваша Е. Т.».

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

— Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он все не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные, руки и кричит встречным «Правда держи!» — то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но все же он не бросает земского места; жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. «Куда это Ионыч едет?» или: «Не пригласить ли на консилиум Ионыча?»

Вероятно, оттого что горло заплывало жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражитель-

ным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой ó пол и кричит своим неприятным голосом:

— Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За все время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью, и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старый и почтенный, подает ему лафит № 17, и уже все — и старшины клуба, и повар, и лакей — знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой ó пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

— Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

— Это вы про Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и все, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, несколько не изменился и по-прежнему все острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

— Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых: его просили поскорее приехать. Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой, по-видимому, владелицы фабрики, и больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы. И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева.

Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре. За Королевым послали на станцию тройку; кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски: «Никак нет!», «Точно так!» Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королев. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, — отдыхать и, быть может, молиться...

Он родился и вырос в Москве, деревни не знал и фабриками никогда не интересовался и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними; и когда он видел какую-нибудь фабрику издали или вблизи, то всякий раз думал о том, что вот снаружи все тихо и смирно, а внутри, должно быть, непроходимое невсезнание и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дразни, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо сторонились коляски, он

в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервность, растерянность.

Въехали в фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяла на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поодаль, товарные склады, бараки и на всем какой-то серый налет, точно от пыли. Там и сям, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет; тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской.

— Пожалуйте, господин доктор,— говорили женские голоса в сенях и в передней; и при этом слышались вздохи и шепот.— Пожалуйте, заждались... чистое горе. Вот сюда пожалуйте.

Госпожа Ляликова, полная пожилая дама, в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая, малограмотная, смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку, не смела. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами в рпсе-пез, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже не молодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни, с мелкими, назойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем дело.

Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка двадцати лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница; она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь, с вечера до утра, у нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали; боялись, как бы не умерла.

— Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая, — рассказывала Христина Дмитриевна певучим голосом, то и дело вытирая губы рукой. — Докто-

ра говорят — нервы, но когда она была маленькой, доктора ей золотуху внутрь вогнали, так вот, думаю, может, от этого.

Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, непричесанная, укрытая до подбородка, она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, которое из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.

— А мы к вам, — начал Корольев, — пришли вас лечить. Здравствуйте.

Он назвал себя и пожал ей руку, — большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у нее были открыты плечи и грудь, дала себя выслушать.

— У меня сердцебиение, — сказала она. — Всю ночь был такой ужас... я едва не умерла от ужаса! Дайте мне чего-нибудь.

— Дам, дам! Успокойтесь.

Корольев осмотрел ее и пожал плечами.

— Сердце как следует, — сказал он, — все обстоит благополучно, все в порядке. Нервы, должно быть, подгуляли немножко, но это так обыкновенно. Припадок, надо думать, уже кончился, ложитесь себе спать.

В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала. И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло, и Корольев уже не замечал ни маленьких глаз, ни грубо развитой нижней части лица; он видел мягкое страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой, и хотелось уже успокоить ее не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать обняла ее голову и прижала к себе. Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи! Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего, всю жизнь отдала на то, чтоб обучить ее французскому языку, танцам, музыке, приглашала для нее десятков учителей, самых лучших докторов, держала гувернантку и теперь не понимала, откуда эти слезы,

зачем столько мук, не понимала и терялась, и у нее было виноватое, тревожное, отчаянное выражение, точно она упустила что-то еще очень важное, чего-то еще не сделала. кого-то еще не пригласила, а кого — неизвестно.

— Лизанька, ты опять... ты опять,— говорила она, прижимая к себе дочь. Родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой? Пожалей меня, скажи.

Обе горько плакали. Королев сел на край постели и взял Лизу за руку.

— Полноте, сто́ит ли плакать? — сказал он ласково.— Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез. Ну, не будем плакать, не нужно это...

А сам подумал:

«Замуж бы ее пора...»

— Наш фабричный доктор давал ей кали-бромá-ти, — сказала гувернантка, — но ей от этого, я замечаю, только хуже. По-моему, уж если давать от сердца, то капли... забыла, как они называются... Ландышевые, что ли.

И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктора, мешала ему говорить, и на лице у нее было написано старание, точно она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине.

Королеву стало скучно.

— Я не нахожу ничего особенного, — сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери. — Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача. Для чего менять? Болельнь такая обыкновенная, ничего серьезного...

Он говорил не спеша, надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно и смотрела на него заплаканными глазами.

— До десятичасового поезда осталось полчаса, — сказал он, — надеюсь, я не опоздаю.

— А вы не можете у нас остаться? — спросила она, и опять слезы потекли у нее по щекам.— Совестно вас беспокоить, но будьте так добры... ради бога,— продолжала она вполголоса, оглядываясь на дверь,— переночуйте у нас. Она у меня одна... единственная дочь...

Напугала прошлую ночь, опомниться не могу... Не уезжайте, бога ради...

Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки.

В зале и гостиной для него зажгли все лампы и свечи. Он сидел у рояля и перелистывал ноты, потом осматривал картины на стенах, портреты. На картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и все это сухо, зализано, бездарно... На портретах ни одного красивого, интересного лица, все широкие скулы, удивленные глаза; у Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо, мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак Красного Креста. Культура бедная, роскошь случайная, неосмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее...

Из передней доносился шепот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев раньше никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно.

«Кажется, ни за что не остался бы тут жить...» — подумал он и опять принялся за ноты.

— Доктор, пожалуйста, закусить — позвала вполголоса гувернантка.

Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Христина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через рипсе-пез.

— Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли, сами рабочие играют, ну чтения с волшебным фонарем, великолепная чайная и, кажется, чего уж. Они нам очень приверженные и, когда узнали, что Лизаньке хуже стало, заказали молебен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют.

— Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины, — сказал Королев.

— Ни одного. Петр Никанорыч помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живем втроем. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцатый лет живу. Как своя.

К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот; вина были дорогие, французские.

— Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии, — говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие. — Пожалуйста, кушайте.

После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно, и в комнате пахло краской; он надел пальто и вышел.

На дворе было прохладно; уже брезжил рассвет и в сыром воздухе обозначались все пять корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали, было в окнах темно, и только в одном из корпусов горела еще печь, два окна были багровые, и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки и пел соловей.

Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел, как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней.

«Тут недоразумение, конечно... — думал он, глядя на багровые окна. — Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делаю плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой, и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так называемые хозяева, пользуют-

ся выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец. Но какие выгоды, как пользоваться ими? Ляликова и ее дочь несчастны, на них жалко смотреть, живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна, пожилая, глуповатая девица в рипсе-пез. И выходит так, значит, что работают все эти пять корпусов и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлядь и пить мадеру».

Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королев слышал до ужина. Около одного из корпусов кто-то бил в металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук, так что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на «дер... дер... дер...». Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие, басовые — «дрын... дрын... дрын...». Одиннадцать раз. Очевидно, это сторожа били одиннадцать часов.

Послышалось около третьего корпуса: «жак... жак... жак...». И так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами. И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами и рабочими и обманывал и тех и других.

Королев вышел со двора в поле.

— Кто идет? — окликнули его у ворот грубым голосом.

«Точно в остроге...» — подумал он и ничего не ответил.

Здесь соловьи и лягушки были слышнее, чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда; кричали где-то сонные петухи, но все же ночь была тиха, мир покойно спал. В поле, недалеко от фабрики, стоял сруб, тут был сложен материал для постройки. Королев сел на доски и продолжал думать:

«Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь все делается, — это дьявол».

И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отно-

шения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отношения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку. Так думал Королев, сидя на досках, и мало-помалу им овладело настроение, как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился все бледнее, время шло быстро. Пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло все, имели особенный вид, не такой, как днем; совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы...

И опять послышалось:

— Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты, и — раздается в другом конце двора:

— Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» — подумал Королев.

— Жак... жак... — раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой, — жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло все кругом.

Королев посидел еще немного и вернулся в дом, но еще долго не ложился. В соседних комнатах шептались, слышалось шлепанье туфель и босых ног.

«Уж не опять ли с ней припадок?» — подумал Королев.

Он вышел, чтобы взглянуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале на стене и на полу дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была открыта, и сама она сидела в кресле около постели, в капоте,

окутанная в шаль, непричесанная. Шторы на окнах были опущены.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Королев.

— Благодарю вас.

Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб.

— Вы не спите, — сказал он. — На дворе прекрасная погода, весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете.

Она слушала и глядела ему в лицо; глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему.

— Часто это с вами бывает? — спросил он.

Она пошевелила губами и ответила:

— Часто. Мне почти каждую ночь тяжело.

В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось «дер... дер...», и она вздрогнула.

— Вас беспокоят эти стуки? — спросил он.

— Не знаю. Меня все тут беспокоит, — ответила она и задумалась. — Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие, мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем.

— Говорите, прошу вас.

— Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат, — продолжала она, глядя себе в колени, и улыбнулась застенчиво, — я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения, но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком, с другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или неправа.

— Разве у вас нет друзей? — спросил Королев.

— Я одинока. У меня есть мать, я люблю ее, но все же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственная; они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола.

— А вы много читаете?

— Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени.

— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.

— Нет, но я чувствую...

Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно; и ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, ждала, не заговорит ли он.

И он знал, что сказать ей; для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это.

Но он не знал, как это сказать. Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены; так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег, отчего они так дурно распоряжаются своим богатством, отчего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье; и если начинают разговор об этом, то выходит он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный.

«Как сказать? — раздумывал Королев. — Да и нужно ли говорить?»

И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем:

— Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны, не верите в свое право и теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно. У вас почтенная бессонница; как бы ни было, она хороший признак. В самом деле, у родителей наших был бы немислим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет. А для наших детей или внуков вопрос этот, — правы они или нет, — будет уже решен. Им будет виднее, чем нам. Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть.

— Что же будут делать дети и внуки?— спросила Лиза.

— Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут.

— Куда уйдут?

— Куда?.. Да куда угодно,— сказал Королев и засмеялся.— Мало ли куда можно уйти хорошему, умному человеку.

Он взглянул на часы.

— Уже солнце взошло, однако,— сказал он.— Вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе во здравие. Очень рад, что познакомился с вами,— продолжал он, пожимая ей руку.— Вы славный, интересный человек. Спокойной ночи!

Он пошел к себе и лег спать.

На другой день утром, когда подали экипаж, все вышли на крыльцо проводить его. Лиза была по-праздничному в белом платье, с цветком в волосах, бледная, томная; она смотрела на него, как вчера, грустно и умно, улыбалась, говорила, и все с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное.— только ему одному. Было слышно, как пели жаворонки, как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли, и, проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке.

ДУШЕЧКА

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой.

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо.

— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дожди! Каждый день дожди, каждый день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки!

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке.

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, ночей не спишь, все думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетов, но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду плачу? Артистам плачу?

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом:

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха!

И на третий день то же...

Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком и когда говорил, то кривил рот; и на лице у него всегда было написано отчаяние, но все же он возбудил в ней настоящее, глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую, наивную улыбку, которая бывала на ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...»— и тоже улыбались, а гости-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия:

— Душечка!

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, находился на окраине города, в Цыганской слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он возвращался домой, она тихо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась...

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда

он увидел как следует ее шею и полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил:

— Душечка!

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния.

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.

— Но разве публика понимает это?— говорила она.— Ей нужен балаган! Вчера у нас шел «Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим «Орфея в аду», приходите.

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться.

Актеры любили ее и называли «мы с Ванечкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им понемножку займы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но мужу не жаловалась.

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму и сдавали его на короткие сроки то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали.

— Какой ты у меня славненький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы.— Какой ты у меня хорошенький.

В великом посту он уехал в Москву набирать труп-пу, а она без него не могла спать, все сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался стук в ворота; кто-то бил в калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять.

— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом.— Вам телеграмма!

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа но теперь почему-то так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее.

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сучала ждем распоряжений хохороны вторник».

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово «сучала»; подпись была режиссера опереточной труппы.

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька.— Ванечка мой миленький, голубчик мой! Зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила! На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную, несчастную?..

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в среду и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах.

— Душечка! — говорили соседки, крестясь.— Душечка Ольга Семеновна, матушка, как убивается!

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с нею шел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей. Василий Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца.

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна,— говорил он степенно, с сочувствием в голосе,— и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так

богу угодно, и в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью.

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба.

Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера и писала там счета и отпускала товар.

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов,— говорила она покупателям и знакомым.— Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васечка должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф!— говорила она, в ужасе закрывая обе щеки руками.— Какой тариф!

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелевка, безымянка, решотник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной склад, как бревна, балки и горбыли стучались, издавая гулкий звук сухого дерева, все падало и опять вставало, громясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно:

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись!

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники сидел дома, и она тоже.

— И все вы дома или в конторе,— говорили знакомые.— Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк.

— Нам с Васечкой некогда по театрам ходить,— отвечала она степенно.— Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах этих что́ хорошего?

По субботам Пустовалов и она ходили ко всеобщей, в праздники к ранней обедне и, возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел сомо́вар, и покупателей угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда рядышком, оба красные.

— Ничего, живем хорошо,— говорила Оленька знакомым,— слава богу. Дай бог всякому жить, как мы с Васечкой.

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его.

— Ну, спаси вас господи,— говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до лестницы.— Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная.

И все она выражалась так степенно, так рассуди-

тельно, подражая мужу; ветеринар уже скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила:

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть ради сына!.. Мальчишечка-то небось все понимает.

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами, и говорили о мальчике, который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей.

И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андрейч в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпустить лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела.

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой?— рыдала она, похоронив мужа.— Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую...

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала:

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье домашних животных, в сущности, надо заботиться так же, как о здоровье людей.

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она

не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито:

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, говорим между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся. Это, наконец, скучно!

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала:

— Володечка, о чем же мне говорить?

И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы.

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна.

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор. Ела и пила она точно поневоле.

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом, но ни о чем не могла

составить мнения и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на дворе. И так жутко и так горько, как будто объелась полыни.

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую слободку уже называли улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома, и образовался ряд переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и говорит ей с досадой:

— Поди, поди... Нечего тут!

И так день за днем, год за годом,— и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо.

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все, она не удержалась, заплакала и положила ему голову

на грудь, не сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить.

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости.— Владимир Платоныч! Откуда бог принес?

— Хочу здесь совсем поселиться,— рассказывал он.— Подал в отставку и вот приехал попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой.

— А где же она?— спросила Оленька.

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу.

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас ничего и не возьму,— заволновалась Оленька и опять заплакала.— Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то, господи!

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не полетам (ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик вошел в двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный смех.

— Тетенька, эта ваша кошка?— спросил он у Оленьки.— Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей.

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала:

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький.

— Островом называется,— прочел он,— часть суши, со всех сторон окруженная водою.

— Островом называется часть суши...— повторила она, и это было ее первое мнение, которое она выска-

звала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях.

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры.

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три, и Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате.

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его.

— Сашенька,— говорит она печально,— вставай, голубчик! В гимназию пора.

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и съедает два больших бублика и полфранцузского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе.

— А ты, Сашенька, нетвердо выучил басню,— говорит Оленька и глядит на него так, будто провожает его в дальнюю дорогу.— Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... Слушайся учителей.

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша.

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька.

— Сашенька-а! — окликает она.

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина: он оглядывается и говорит:

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду.

Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как

она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз, она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему?

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой, тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей:

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?

— Трудно теперь стало в гимназии учиться,— рассказывает она на базаре.— Шутка ли, вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут маленькому?

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках,— то же самое, что говорит о них Саша.

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети... Она засыпает и все думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее под боком и мурлычет:

— Мур... мур... мур...

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук.

«Это телеграмма из Харькова,— думает она, начиная дрожать всем телом.— Мать требует Сашу к себе в Харьков... О господи!»

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой из клуба.

«Ну, слава богу»,— думает она.

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду:

— Я тебе! Пошел вон! Не дерись!

ДАМА С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере, по несколько раз в день. Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпцем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых,— соображал Гуров,— то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но все же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

И вот однажды, под вечер, он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели; но когда дама села за соседний стол в грех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпича и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается,— сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость?— и когда она утверди-

тельно кивнула головой, он спросил приветливо.— Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука!— сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздере — и ему не скучно, а приедет сюда. «Ах, скучно! ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, — в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась все равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, — должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать.

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы; пожилые дамы были одеты как молодые и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода, Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше,— сказал он.— Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам...— проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень ко-

роткое; о таких,— как, например, его жена,— которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть, и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению,— так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо,— сказала она.— Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло по крайней мере полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее нехорошо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя?— спросил Гуров.— Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть бог меня простит!— сказала она, и глаза у нее наполнились слезами.— Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдываться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня

томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же,— говорила я себе,— другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю,— сказал он тихо,— что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас...— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно...— бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц,— сказал Гуров.— Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря,

доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала все одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его: он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и все просила его сознаться, что он ее не уважает, несколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водо-

пад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю,— говорила она Гурову.— Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать,— говорила она.— Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом.— Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно все сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытие, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Все время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север,— думал Гуров, уходя с платформы.— Пора!»

III

Дома в Москве уже все было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утерjali для него все очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в Докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинете голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в

Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкафа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Димитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из Докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если бы вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном. Ненужные дела и разговоры все об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куца, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумашедшем доме или в арестантских ротах.

Гуров не спал всю ночь и возмущался, и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за

одного молодого человека — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице в собственном доме,— это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и все равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда все можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он все ходил по улице и около забора и поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояле, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилося сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил, и все больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как все это глупо и беспокоино,— думал он, проснувшись и глядя на темные окна: был уже вечер.— Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом, и дразнил себя с досадой: «Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», — думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Все время, пока публика выходила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блеснул какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настроиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал: «О господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что все кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, все еще бледная, ошеломленная. — О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорил он вполголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. — Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было все равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. — Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать...— продолжала Анна Сергеевна шепотом.— Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, все оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива... Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда все утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, — и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег,— говорил Гуров дочери.— Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, все же, что было его ложью, его обо-

лочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилей,— все это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там?— спросил он.— Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она все стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно,

уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни разу не любил; было все, что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали все в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде в грустные минуты он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая, — говорил он, — поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

НЕВЕСТА

I

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде — она вышла в сад на минутку — видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем-то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал.

В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко, и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

Ей, Наде, было уже двадцать три года; с шестнадцати лет она страстно мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреича, того самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо, веселье пропало... Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спе-

шили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!

Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце; это Александр Тимофеич, или попросту Саша, гость, приехавший из Москвы дней десять назад. Когда-то давно к бабушке хаживала за подаяньем ее дальняя родственница, Марья Петровна, обедневшая дворянка-вдова, маленькая, худенькая, больная. У нее был сын Саша. Почему-то про него говорили, что он прекрасный художник, и, когда у него умерла мать, бабушка, ради спасения души, отправила его в Москву в Комиссаровское училище; года через два перешел он в училище живописи, пробыл здесь чуть ли не пятнадцать лет и кончил по архитектурному отделению, с грехом пополам, но архитектурой все-таки не занимался, а служил в одной из московских литографий. Почти каждое лето приезжал он, обыкновенно очень больной, к бабушке, чтобы отдохнуть и поправиться.

На нем был теперь застегнутый сюртук и поношенные парусиновые брюки, стоптанные внизу. И сорочка была неглаженная, и весь он имел какой-то несвежий вид. Очень худой, с большими глазами, с длинными худыми пальцами, бородатый, темный и все-таки красивый. К Шуминым он привык, как к родным, и у них чувствовал себя, как дома. И комната, в которой он жил здесь, называлась уже давно Шашиной комнатой.

Стоя на крыльце, он увидел Надю и пошел к ней.

— Хорошо у вас здесь,— сказал он.

— Конечно, хорошо. Вам бы здесь до осени пожить

— Да, должно, так придется. Пожалуй, до сентября у вас тут проживу.

Он засмеялся без причины и сел рядом.

— А я вот сижу и смотрю отсюда на маму,— сказала Надя.— Она кажется отсюда такой молодой! У моей мамы, конечно, есть слабости,— добавила она, помолчав,— но все же она необыкновенная женщина.

— Да, хорошая...— согласился Саша.— Ваша мама по-своему, конечно, и очень добрая и милая женщина, но... как вам сказать? Сегодня утром рано зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь,

клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены. Ну, бабушка, бог с ней, на то она и бабушка; а ведь мама небось по-французски говорит, в спектаклях участвует. Можно бы, кажется, почитать.

Когда Саша говорил, то вытягивал перед слушателем два длинных, тощих пальца.

— Мне все здесь как-то дико с непривычки,— продолжал он.— Черт знает, никто ничего не делает. Мама-ша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка тоже ничего не делает, вы— тоже. И жених, Андрей Андреич, тоже ничего не делает.

Надя слышала это и в прошлом году и, кажется, в позапрошлом, и знала, что Саша иначе рассуждать не может, и это прежде смешило ее, теперь же почему-то ей стало досадно.

— Все это старо и давно надоело,— сказала она и встала.— Вы бы придумали что-нибудь поновее.

Он засмеялся и тоже встал, и оба пошли к дому. Она, высокая, красивая, стройная, казалась теперь рядом с ним очень здоровой и нарядной; она чувствовала это, и ей было жаль его и почему-то неловко.

— И говорите вы много лишнего,— сказала она.— Вот вы только что говорили про моего Андрея, но ведь вы его не знаете.

— Моего Андрея... Бог с ним, с вашим Андреем! Мне вот молодости вашей жалко.

Когда вошли в залу, там уже садились ужинать. Бабушка, или, как ее называли в доме, бабуля, очень полная, некрасивая, с густыми бровями и с усиками, говорила громко, и уже по ее голосу и манере говорить было заметно, что она здесь старшая в доме. Ей принадлежали торговые ряды на ярмарке и старинный дом с колоннами и садом, но она каждое утро молилась, чтобы бог спас ее от разорения, и при этом плакала. И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в рinсе-pez и с брильянтами на каждом пальце; и отец Андрей, старик, худощавый, беззубый и с таким выражением, будто собирался рассказать что-то очень смешное; и его сын Андрей Андреич, жених Нади, полный и красивый, с вьющимися волосами, похожий на артиста или художника,— все трое говорили о гипнотизме.

— Ты у меня в неделю поправишься,— сказала бабуля, обращаясь к Саше,— только вот кушай побольше. И на что ты похож! — вздохнула она.— Страшный ты стал! Вот уж подлинно, как есть, блудный сын.

— Отеческого дара расточив богатство,— проговорил отец Андрей медленно, со смеющимися глазами,— с бессмысленными скоты пасохся окаянный...

— Люблю я своего батьку,— сказал Андрей Андреич и потрогал отца за плечо.— Славный старик. Добрый старик.

Все помолчали. Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку.

— Стало быть, вы верите в гипнолизм? — спросил отец Андрей у Нины Ивановны.

— Я не могу, конечно, утверждать, что я верю,— ответила Нина Ивановна, придавая своему лицу очень серьезное, даже строгое выражение,— но должна сознаться, что в природе есть много таинственного и непонятого.

— Совершенно с вами согласен, хотя должен прибавить от себя, что вера значительно сокращает нам область таинственного.

Подали большую, очень жирную индейку. Отец Андрей и Нина Ивановна продолжали свой разговор. У Нины Ивановны блестели брильянты на пальцах, потом на глазах заблестели слезы, она заволновалась.

— Хотя я и не смею спорить с вами,— сказала она,— но, согласитесь, в жизни так много неразрешимых загадок!

— Ни одной, смею вас уверить.

После ужина Андрей Андреич играл на скрипке, а Нина Ивановна аккомпанировала на рояле. Он десять лет назад кончил в университете по филологическому факультету, но нигде не служил, определенного дела не имел и лишь изредка принимал участие в концертах с благотворительною целью; и в городе называли его артистом.

Андрей Андреич играл; все слушали молча. На столе тихо кипел самовар, и только один Саша пил чай. Потом, когда пробило двенадцать, лопнула вдруг струна на скрипке; все засмеялись, засуетились и стали прощаться.

Проводив жениха, Надя пошла к себе наверх, где жила с матерью (нижний этаж занимала бабушка). Внизу, в зале, стали тушить огни, а Саша все еще сидел и пил чай. Пил он чай всегда подолгу, по-московски, стаканов по семи в один раз. Наде, когда она разделась и легла в постель, долго еще было слышно, как внизу убирала прислуга, как сердилась бабуля. Наконец все затихло, и только слышалось изредка, как в своей комнате, внизу, покашливал басом Саша.

II

Когда Надя проснулась, было, должно быть, часа два, начинался рассвет. Где-то далеко стучал сторож. Спать не хотелось, лежать было очень мягко, неловко. Надя, как и во все прошлые майские ночи, села в постели и стала думать. А мысли были все те же, что в прошлую ночь, однообразные, ненужные, неотвязчивые, мысли о том, как Андрей Андреич стал ухаживать за ней и сделал ей предложение, как она согласилась и потом мало-помалу оценила этого доброго, умного человека. Но почему-то теперь, когда до свадьбы осталось не больше месяца, она стала испытывать страх, беспокойство, как будто ожидало ее что-то неопределенное, тяжелое.

«Тик-ток, тик-ток... — лениво стучал сторож. — Тик-ток...»

В большое старое окно виден сад, дальше кусты густо цветущей сирени, сонной и вялой от холода; и туман, белый, густой, тихо подплывает к сирени, хочет закрыть ее. На далеких деревьях кричат сонные грачи.

— Боже мой, отчего мне так тяжело!

Быть может, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста. Кто знает! Или тут влияние Саши? Но ведь Саша уже несколько лет подряд говорит все одно и то же, как по-писанному, и когда говорит, то кажется наивным и странным. Но отчего же все-таки Саша не выходит из головы? отчего?

Сторож уже давно не стучит. Под окном и в саду зашумели птицы, туман ушел из сада, все кругом озарилося весенним светом, точно улыбкой. Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно

запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным.

Уже проснулась бабуля. Закашлял грубым басом Саша. Слышно было, как внизу подали самовар, как двигали стульями.

Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро.

Вот Нина Ивановна, заплаканная, со стаканом минеральной воды. Она занималась спиритизмом, гомеопатией, много читала, любила поговорить о сомнениях, которым была подвержена, и все это, казалось Наде, заключало в себе глубокий, таинственный смысл. Теперь Надя поцеловала мать и пошла с ней рядом.

— О чем ты плакала, мама? — спросила она.

— Вчера на ночь стала я читать повесть, в которой описывается один старик и его дочь. Старик служит где-то, ну, и в дочь его влюбился начальник. Я не дочитала, но там есть такое одно место, что трудно было удержаться от слез, — сказала Нина Ивановна и отхлебнула из стакана. — Сегодня утром вспомнила и тоже всплакнула.

— А мне все эти дни так невесело, — сказала Надя, помолчав. — Отчего я не сплю по ночам?

— Не знаю, милая. А когда я не сплю по ночам, то закрываю глаза крепко-крепко, вот этак, и рисую себе Анну Каренину, как она ходит и как говорит, или рисую что-нибудь историческое, из древнего мира.

Надя почувствовала, что мать не понимает ее и не может понять. Почувствовала это в первый раз в жизни, и ей даже страшно стало, захотелось спрятаться; и она ушла к себе в комнату.

А в два часа сели обедать. Была среда, день постный, и потому бабушке подали постный борщ и леща с кашей.

Чтобы подразнить бабушку, Саша ел и свой скромный суп, и постный борщ. Он шутил все время, пока обедали, но шутки у него выходили громоздкие, непременно с расчетом на мораль, и выходило совсем не смешно, когда он перед тем, как состричь, поднимал вверх свои очень длинные, исхудалые, точно мертвые пальцы, и когда приходило на мысль, что он очень болен и, пожалуй, недолго еще протянет на этом свете, тогда становилось жаль его до слез.

После обеда бабушка ушла к себе в комнату отдыхать. Нина Ивановна недолго поиграла на рояле и потом тоже ушла.

— Ах, милая Надя, — начал Саша свой обычный послеобеденный разговор, — если бы вы послушали меня! если бы!

Она сидела глубоко в старинном кресле, закрыв глаза, а он тихо ходил по комнате, из угла в угол.

— Если бы вы поехали учиться! — говорил он. — Только просвещенные и святые люди интересны, только они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на камне, — все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпа в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет, и ни один не будет искать опоры в толпе. Милая, голубушка, поезжайте! Покажите всем, что эта неподвижная, серая, грешная жизнь надоела вам. Покажите это хоть себе самой!

— Нельзя, Саша. Я выхожу замуж.

— Э, полно! Кому это нужно?

Вышли в сад, прошлись немного.

— И как бы там ни было, милая моя, надо вдумать-ся, надо понять, как нечиста, как безнравственна эта ваша праздная жизнь, — продолжал Саша. — Поймите же, ведь если, например, вы, и ваша мать, и ваша бабушка ничего не делаете, то, значит, за вас работает кто-то другой, вы заедаете чью-то чужую жизнь, а разве это чисто, не грязно?

Надя хотела сказать: «Да, это правда»; хотела сказать, что она понимает; но слезы показались у нее на глазах, она вдруг притихла, сжалась вся и ушла к себе.

Перед вечером приходил Андрей Андреич и, по обыкновению, долго играл на скрипке. Вообще он был неразговорчив и любил скрипку, быть может, потому, что во время игры можно было молчать. В одиннадцатом часу, уходя домой, уже в пальто он обнял Надю и стал жадно целовать ее лицо, плечи, руки.

— Дорогая, милая моя, прекрасная!.. — бормотал он. — О, как я счастлив! Я безумствую от восторга!

И ей казалось, что это она уже давно слышала, очень давно, или читала где-то... в романе, в старом, оборванном, давно уже заброшенном.

В зале Саша сидел у стола и пил чай, поставив блюдечко на свои длинные пять пальцев; бабуля раскладывала пасьянс, Нина Ивановна читала. Трещал огонек в лампадке, и все, казалось, было тихо, благополучно. Надя простилась и пошла к себе наверх, легла и тотчас же уснула. Но, как и в прошлую ночь, едва забрезжил свет, она уже проснулась. Спать не хотелось, на душе было непокойно, тяжело. Она сидела, положив голову на колени, и думала о женихе, о свадьбе.. Вспомнила она почему-то, что ее мать не любила своего покойного мужа и теперь ничего не имела, жила в полной зависимости от своей свекрови, бабули. И Надя, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в своей матери что-то особенное, необыкновенное, почему не замечала простой, обыкновенной несчастной женщины.

И Саша не спал внизу, — слышно было, как он кашлял. Это странный, наивный человек, думала Надя, и в его мечтах, во всех этих чудесных садах, фонтанах необыкновенных чувствуется что-то нелепое; но почему-то в его наивности, даже в этой нелепости столько прекрасного, что едва она только вот подумала о том, не поехать ли ей учиться, как все сердце, всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, восторга.

— Но лучше не думать, лучше не думать... — шептала она. — Не надо думать об этом.

«Тик-ток.. — стучал сторож где-то далеко. — Тик-ток... тик-ток...»

III

Саша в середине июня стал вдруг скучать и засоби-рался в Москву.

— Не могу я жить в этом городе, — говорил он мрачно. — Ни водопровода, ни канализации! Я есть за обедом брезгаю: в кухне грязь невозможнейшая...

— Да погоди, блудный сын! — убеждала бабушка почему-то шепотом, — седьмого числа свадьба!

— Не желаю.

— Хотел ведь у нас до сентября прожить!

— А теперь вот не желаю. Мне работать нужно!

Лето выдалось сырое и холодное, деревья были мокрые, все в саду глядело неприветливо, уныло, хотелось в самом деле работать. В комнатах, внизу и наверху, слышались незнакомые женские голоса, стучала у бабушки швейная машина: это спешили с приданым. Одних шуб за Надей давали шесть, и самая дешевая из них, по словам бабушки, стоила триста рублей! Суэта раздражала Сашу; он сидел у себя в комнате и сердился; но все же его уговорили остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше.

Время шло быстро. На петров день после обеда Андрей Андреич пошел с Надей на Московскую улицу, чтобы еще раз осмотреть дом, который наняли и давно уже приготовили для молодых. Дом двухэтажный, но убран был пока только верхний этаж. В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки. Пахло краской. На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой.

— Чудесная картина, — проговорил Андрей Андреич и из уважения вздохнул. — Это художника Шишмачевского.

Дальше была гостиная с круглым столом, диваном и креслами, обитыми ярко-голубой материей. Над диваном большой фотографический портрет отца Андрея в камиллавке и в орденах. Потом вошли в столовую с буфетом, потом в спальню; здесь в полумраке стояли рядом две кровати, и похоже было, что когда обставляли спальню, то имели в виду, что всегда тут будет очень хорошо и иначе быть не может. Андрей Андреич водил Надю по комнатам и все время держал ее за талию; а она чувствовала себя слабой, виноватой, ненавидела все эти комнаты, кровати, кресла, ее мучило от нагой дамы. Для нее уже ясно было, что она разлюбила Андрея Андреича или, быть может, не любила его никогда; но как это сказать, кому сказать и для чего, она не понимала и не могла понять, хотя думала об этом все дни, все ночи... Он держал ее за талию, говорил так ласково, скромно, так был счастлив, расхаживая по этой своей

квартире; а она видела во всем одну только пошлость, глупую, наивную, невыносимую пошлость, и его рука, обнимавшая ее талию, казалась ей жесткой и холодной, как обруч. И каждую минуту она готова была убежать, зарыдать, броситься в окно. Андрей Андреич привел ее в ванную и здесь дотронулся до крана, вделанного в стену, и вдруг потекла вода.

— Каково? — сказал он и рассмеялся. — Я велел сделать на чердаке бак на сто ведер, и вот мы с тобой теперь будем иметь воду.

Прошлись по двору, потом вышли на улицу, взяли извозчика. Пыль носилась густыми тучами, и казалось, вот-вот пойдет дождь.

— Тебе не холодно? — спросил Андрей Андреич, щурясь от пыли.

Она промолчала.

— Вчера Саша, ты помнишь, упрекнул меня в том, что я ничего не делаю, — сказал он, помолчав немного. — Что же, он прав! бесконечно прав! Я ничего не делаю и не могу делать. Дорогая моя, отчего это? Отчего мне так противна даже мысль о том, что я когда-нибудь нацеплю на лоб кокарду и пойду служить? Отчего мне так не по себе, когда я вижу адвоката, или учителя латинского языка, или члена управы? О матушка Русь! О матушка Русь, как еще много ты носишь на себе праздных и бесполезных! Как много на тебе таких, как я, много-страдальная!

И то, что он ничего не делал, он обобщал, видел в этом знамение времени.

— Когда женимся, — продолжал он, — то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, рекой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!» Почти около самого дома они обогнали отца Андрея.

— А вот и отец идет! — обрадовался Андрей Андреич и замахал шляпой. — Люблю я своего батьку, право, — сказал он, расплачиваясь с извозчиком. — Славный старик. Добрый старик.

Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о

том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, улыбаться, слушать скрипку, слушать всякий вздор и говорить только о свадьбе. Бабушка, важная, пышная в своем шелковом платье, надменная, какую она всегда казалась при гостях, сидела у самовара. Вошел отец Андрей со своей хитрой улыбкой.

— Имею удовольствие и благодатное утешение видеть вас в добром здоровье, — сказал он бабушке, и трудно было понять, шутит это он или говорит серьезно.

IV

Ветер стучал в окна, в крышу; слышался свист, и в печи домово́й жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал, и Наде все чужалось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке, со свечой.

— Что это застучало, Надя? — спросила она.

Мать, с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, не красивее, меньше ростом. Наде вспомнилось, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила; а теперь никак не могла вспомнить этих слов; все, что приходило на память, было так слабо, ненужно.

В печке раздалось пение нескольких басов и даже послышалось: «А-ах, бо-о-же мой!» Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала.

— Мама, мама, — проговорила она, — родная моя, если б ты знала, что со мной делается! Прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать! Умоляю!

— Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать. — Куда уехать?

Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова.

— Позволь мне уехать из города! — сказала она наконец. — Свадьбы не должно быть и не будет, пойми! Я не люблю этого человека... И говорить о нем не могу.

— Нет, родная моя, нет, — заговорила Нина Ивановна быстро, страшно испугавшись. — Ты успокойся, — это у тебя от нерасположения духа. Это пройдет. Это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но милые бранятся — только тешатся.

— Ну, уйди, мама, уйди! — зарыдала Надя.

— Да, — сказала Нина Ивановна, помолчав. — Давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста. В природе постоянный обмен веществ. И не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня.

— Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна, — сказала Надя, — ты очень несчастна, — зачем же ты говоришь пошлости? Бога ради, зачем?

Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке, стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.

— Мама, выслушай меня! — проговорила Надя. — Умоляю тебя, вдумайся и пойми! Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза, я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреич? Ведь он же не умен, мама! Господи боже мой! Пойми, мама, он глуп!

Нина Ивановна порывисто села.

— Ты и твоя бабка мучаете меня! — сказала она, всхлипнув. — Я жить хочу! Жить! — повторила она и два раза ударила кулачком по груди. — Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу, а вы из меня старуху сделали!..

Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком, и показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал.

Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром посбивало все яблоки и сломало одну старую сливу. Было серо, тускло, безотраднo, хоть огонь зажигай; все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.

— Что? — спросил Саша.

— Не могу... — проговорила она. — Как я могла жить здесь раньше, не понимаю, не постигаю! Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь...

— Ну, ну... — проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело. — Это ничего... Это хорошо.

— Эта жизнь опостылела мне, — продолжала Надя, — я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, бога ради!

Саша минуту смотрел на нее с удивлением; наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости.

— Великолепно! — говорил он, потирая руки — Боже, как это хорошо!

А она глядела на него, не мигая, большими, влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности; он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полная ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть.

— Завтра я уезжаю, — сказал он, подумав, — и вы поедете на вокзал провожать меня... Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму; а во время третьего звонка вы войдите в вагон, — мы и поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?

— Есть.

— Клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь, — сказал Саша с увлечением. — Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное не нужно. Итак, значит, завтра поедем?

— О да! Бога ради!

Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать; но едва она пришла к себе наверх и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой, до самого вечера.

V

Послали за извозчиком. Надя, уже в шляпе и пальто, пошла наверх, чтобы еще раз взглянуть на мать, на все

свое; она постояла в своей комнате около постели, еще теплой, осмотрелась, потом пошла тихо к матери. Нина Ивановна спала, в комнате было тихо. Надя поцеловала мать и поправила ей волосы, постояла минуты две.. Потом не спеша вернулась вниз.

На дворе шел сильный дождь. Извозчик с крытым верхом, весь мокрый, стоял у подъезда.

— Не поместишься с ним, Надя, — сказала бабушка, когда прислуга стала укладывать чемоданы. — И охота в такую погоду провожать! Оставалась бы дома. Ишь ведь дождь какой!

Надя хотела сказать что-то и не могла. Вот Саша посадил Надю, укрыл ей ноги пледом. Вот и сам он поместился рядом.

— В добрый час! Господь благословит! — кричала с крыльца бабушка. — Ты же, Саша, пиши нам из Москвы!

— Ладно. Прощайте, бабуля!

— Сохрани тебя царица небесная!

— Ну, погодка! — проговорил Саша.

Надя теперь только заплакала. Теперь уже для нее ясно было, что она уедет непременно, чему она все-таки не верила, когда прощалась с бабушкой, когда глядела на мать. Прощай, город! И все ей вдруг припомнилось: и Андрей, и его отец, и новая квартира, и нагая дама с вазой; и все это уже не пугало, не тяготило, а было наивно, мелко и уходило все назад и назад. А когда сели в вагон и поезд тронулся, то все это прошлое, такое большое и серьезное, сжалось в комочек, и разворачивалось громадное, широкое будущее, которое до сих пор было так мало заметно. Дождь стучал в окна вагона, было видно только зеленое поле, мелькали телеграфные столбы да птицы на проволоках, и радость вдруг перехватила ей дыхание: она вспомнила, что она едет на волю, едет учиться, а это все равно что когда-то очень давно называлось уходить в казачество. Она и смеялась, и плакала, и молилась.

— Ничего-о! — говорил Саша ухмыляясь. — Ничего-о!

VI

Прошла осень, за ней прошла зима. Надя уже сильно тосковала и каждый день думала о матери и о

бабушке, думала о Саше. Письма из дому приходили тихие, добрые, и, казалось, все уже было прощено и забыто. В мае после экзаменов она, здоровая, веселая, поехала домой и на пути остановилась в Москве, чтобы повидаться с Сашей. Он был все такой же, как и прошлым летом: бородатый, со всклокоченной головой, все в том же сюртуке и парусиновых брюках, все с теми же большими, прекрасными глазами; но вид у него был нездоровый, замученный, он и постарел, и похудел, и все покашливал. И почему-то показался он Наде серым, провинциальным.

— Боже мой, Надя приехала! — сказал он и весело рассмеялся. — Родная моя, голубушка.

Посидели в литографии, где было накурено и сильно, до духоты, пахло тушью и красками; потом пошли в его комнату, где было накурено, наплевано; на столе возле остывшего самовара лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух. И тут было видно по всему, что личную жизнь свою Саша устроил неряшливо, жил как придется, с полным презрением к удобствам, и если бы кто-нибудь заговорил с ним об его личном счастье, об его личной жизни, о любви к нему, то он бы ничего не понял и только бы засмеялся.

— Ничего, все обошлось благополучно, — рассказывала Надя торопливо. — Мама приезжала ко мне осенью в Петербург, говорила, что бабушка не сердится, а только все ходит в мою комнату и крестит стены.

Саша глядел весело, но покашливал и говорил надтреснутым голосом, и Надя все вглядывалась в него и не понимала, болен ли он на самом деле серьезно или ей это только так кажется.

— Саша, дорогой мой, — сказала она, — а ведь вы больны!

— Нет, ничего. Болен, но не очень...

— Ах, боже мой, — заволновалась Надя, — отчего вы не лечитесь, отчего не бережете своего здоровья? Дорогой мой, милый Саша, — проговорила она, и слезы брызнули у нее из глаз, и почему-то в воображении ее выросли и Андрей Андреич, и голая дама с вазой, и все ее прошлое, которое казалось теперь таким же далеким, как детство; и заплакала она оттого, что Саша уже не казался ей таким новым, интеллигентным, интересным,

каким был в прошлом году. — Милый Саша, вы очень, очень больны. Я бы не знаю что сделала, чтобы вы не были так бледны и худы. Я вам так обязана! Вы не можете даже представить себе, как много вы сделали для меня, мой хороший Саша! В сущности, для меня вы теперь самый близкий, самый родной человек.

Они посидели, поговорили; и теперь, после того как Надя провела зиму в Петербурге, от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло чем-то старомодным, давно спетым и, быть может, уже ушедшим в могилу.

— Я послезавтра на Волгу поеду, — сказал Саша, — ну, а потом на кумыс. Хочу кумыса попить. А со мной едет один приятель с женой. Жена удивительный человек; все сбиваю ее, уговариваю, чтоб она учиться пошла. Хочу, чтобы жизнь свою перевернула.

Поговоривши, поехали на вокзал. Саша угощал чаем, яблоками; а когда поезд тронулся и он, улыбаясь, помахивал платком, то даже по ногам его видно было, что он очень болен и едва ли проживет долго.

Приехала Надя в свой город в полдень. Когда она ехала с вокзала домой, то улицы казались ей очень широкими, а дома маленькими, приплюснутыми; людей не было, и только встретился немец-настройщик в рыжем пальто. И все дома точно пылью покрыты. Бабушка, совсем уже старая, по-прежнему полная и некрасивая, охватила Надю руками и долго плакала, прижавшись лицом к ее плечу, и не могла оторваться. Нина Ивановна тоже сильно постарела и подурнела, как-то осунулась вся, но все еще по-прежнему была затянута, и брильянты блестели у нее на пальцах.

— Милая моя! — говорила она, дрожа всем телом. — Милая моя!

Потом сидели и молча плакали. Видно было, что и бабушка и мать чувствовали, что прошлое потеряно навсегда и бесповоротно: нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости; так бывает, когда среди легкой, беззаботной жизни вдруг нагрянет ночью полиция, сделает обыск, и хозяин дома, окажется, растратил, подделал, — и прощай тогда навеки легкая, беззаботная жизнь!

Надя пошла наверх и увидела ту же постель, те же окна с белыми, наивными занавесками, а в окнах тот

же сад, залитый солнцем, веселый, шумный. Она потрогала свой стол, посидела, подумала. И обедала хорошо, и пила чай со вкусными, жирными сливками, но чего-то уже не хватало, чувствовалась пустота в комнатах, и потолки были низки. Вечером она легла спать, укрылась, и почему-то было смешно лежать в этой теплой, очень мягкой постели.

Пришла на минутку Нина Ивановна, села, как садятся виноватые, робко и с оглядкой.

— Ну, как, Надя? — спросила она, помолчав. — Ты довольна? Очень довольна?

— Довольна, мама.

Нина Ивановна встала и перекрестила Надю и окна.

— А я, как видишь, стала религиозной, — сказала она. — Знаешь, я теперь занимаюсь философией и все думаю, думаю... И для меня теперь многое стало ясно, как день. Прежде всего надо, мне кажется, чтобы вся жизнь проходила как сквозь призму.

— Скажи, мама, как здоровье бабушки?

— Как будто бы ничего. Когда ты уехала тогда с Сашей и пришла от тебя телеграмма, то бабушка, как прочла, так и упала; три дня лежала без движения. Потом все богу молилась и плакала. А теперь ничего.

Она встала и прошла по комнате.

«Тик-ток... — стучал сторож. — Тик-ток, тик-ток...»

— Прежде всего надо, чтобы вся жизнь проходила как бы сквозь призму, — сказала она, — то есть, другими словами, надо, чтобы жизнь в сознании делилась на простейшие элементы, как бы на семь основных цветов, и каждый элемент надо изучать в отдельности.

Что еще сказала Нина Ивановна и когда она ушла, Надя не слышала, так как скоро уснула.

Прошел май, настал июнь. Надя уже привыкла к дому. Бабушка хлопотала за самоваром, глубоко вздыхала; Нина Ивановна рассказывала по вечерам про свою философию; она по-прежнему проживала в доме, как приживалка, и должна была обращаться к бабушке за каждым двугривенным. Было много мух в доме, и потолки в комнатах, казалось, становились все ниже и ниже. Бабуля и Нина Ивановна не выходили на улицу из страха, чтобы им не встретились отец Андрей и Андрей Андреич. Надя ходила по саду, по улице, глядела на дома, на серые заборы, и ей казалось, что в горо-

де все давно уже состарилось, отжило и все только ждет не то конца, не то начала чего-то молодого, свежего. О, если бы поскорее наступила эта новая, ясная жизнь, когда можно будет прямо и смело смотреть в глаза своей судьбе, сознавать себя правым, быть веселым, свободным! А такая жизнь рано или поздно наступит! Ведь будет же время, когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, — будет же время, когда от этого дома не останется и следа и о нем забудут, никто не будет помнить. И Надю развлекали только мальчишки из соседнего двора; когда она гуляла по саду, они стучали в забор и дразнили ее со смехом:

— Невеста! Невеста!

Пришло из Саратова письмо от Саши. Своим веселым, танцующим почерком он писал, что путешествие по Волге ему удалось вполне, но что в Саратове он прихворнул немного, потерял голос, и уже две недели лежит в больнице. Она поняла, что это значит, и предчувствие, похожее на уверенность, овладело ею. И ей было неприятно, что это предчувствие и мысли о Саше не волновали ее так, как раньше. Ей страстно хотелось жить, хотелось в Петербург, и знакомство с Сашей представлялось уже милым, но далеким, далеким прошлым! Она не спала всю ночь и утром сидела у окна, прислушивалась. И в самом деле, послышались голоса внизу; встревоженная бабушка стала о чем-то быстро спрашивать. Потом заплакал кто-то... Когда Надя сошла вниз, то бабушка стояла в углу и молилась, и лицо у нее было заплакано. На столе лежала телеграмма.

Надя долго ходила по комнате, слушая, как плачет бабушка, потом взяла телеграмму, прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки скончался Александр Тимофеич, или попросту Саша.

Бабушка и Нина Ивановна пошли в церковь заказывать панихиду, а Надя долго еще ходила по комнатам и думала. Она ясно сознавала, что жизнь ее перевернута, как хотел того Саша, что она здесь одинокая, чужая, ненужная и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру. Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.

«Прощай, милый Саша!» — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, — как полагала, навсегда.

1903

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекUTOR, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на верху блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков несколько не сконфузился, утерся платочком и, как всякий вежливый человек, поглядел вокруг себя: не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Бризжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал гля-

деть па сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Бризжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, выше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Бризжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Бризжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ва-

ше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раская-ния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Чехов в Башкирии (<i>предисловие</i>)	5
Толстый и тонкий	18
Хамелеон	21
Кухарка женится	25
Унтер Пришибеев	30
Ванька	34
Враги	38
Спать хочется	51
Попрыгунья	57
В ссылке	82
Палата № 6	91
Володя большой и Володя маленький	144
Студент	156
Анна на шее	160
Ариадна	173
Дом с мезонином. Рассказ художника	198
Человек в футляре	216
Крыжовник	229
Ионыч	239
Случай из практики	257
Душечка	268
Дама с собачкой	281
Невеста	297
Смерть чиновника	316

Антон Павлович Чехов

Повести и рассказы

Редактор Д. Дамниов
Художник С. Астраханцев
Художественный редактор А. Астраханцев
Технический редактор Г. Зигангирова
Корректоры В. Тимофеева, К. Шилина

ИБ № 1368

Сдано в набор 26/X 1979 г. Подписано к печати 25/XII
1979 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂ Бумага тип. № 3.
Литературная гарнитура. Печать высокая. Условн. печ.
л. 16,8. Учетн.-издат. л. 16,31. Тираж 150 000. Заказ № 350.
Цена 1 руб. 40 коп.

Башкирское книжное издательство. Уфа-25, ул. Совет-
ская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата
Башкирской АССР.
Уфа-1, проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 18.07.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 40 коп.